

ЮЛИЯ
ПЕРМЯКОВА

разные
миры...



Он —
мой самый
большой
риск



Любовь
не всегда
делает жизнь
проще...



По ту сторону долга

ЛЮБОВЬ × ОПАСНОСТЬ × ТАЙНЫ



Юлия Пермякова

По ту сторону долга

«Автор»

2026

Пермякова Ю.

По ту сторону долга / Ю. Пермякова — «Автор», 2026

У каждого долга есть цена. Но что, если однажды за него придётся платить не деньгами? Квинн Эванс привыкла к жизни, в которой всё давно расписано: престижный университет, обеспеченная семья, правильное окружение и будущее, не оставляющее места случайностям. Адам Смит появляется в её мире внезапно — избитый, замкнутый и совершенно не похожий на людей, среди которых она привыкла жить. Он явно что-то скрывает, но Квинн всё сильнее тянется к этой тайне. Их знакомство становится началом истории, в которой сталкиваются два совершенно разных мира — роскошь и нищета, безопасность и опасность, прошлое и настоящее. Пока вокруг них разворачивается борьба за деньги, влияние и свободу, Адам пытается расплатиться с долгами, которые достались ему вместе с чужими ошибками. Но некоторые долги невозможно погасить деньгами. А иногда цена оказывается слишком высокой — особенно когда на кону стоит любовь.

© Пермякова Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	26
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Юлия Пермякова

По ту сторону долга

Глава 1

Ночь в Лэнгборуке имела особое, подлое свойство. Она не набрасывалась сразу, а подкрадывалась, пробираясь по канализационным стокам и пожарным лестницам, заполняя собой каждую щель, как ядовитый газ. Дневная грязь и шум под её покровом не исчезали, а ферментировались, превращаясь в нечто гуще и зловоннее. Здесь, в кварталах, которые на картах обозначали мелким, неразборчивым шрифтом, царила не темнота, а видимость темноты — грязновато-бурая полутьма, в которой глаз цеплялся за любой блик, как утопающий за соломинку. Тускло-оранжевый свет редких фонарей не пробивал её, а лишь разбавлял, как вода дешёвый винный спирт, делая обманчиво жидкой и проницаемой. Он бросал на землю не пятна света, а лужи тени, в которых что-то постоянно шевелилось.

В одной такой зыбкой луже, у подножия кирпичной стены, покрытой столетними слоями сажи и граффити, стояла машина. Чёрная, как провал в памяти. Большой, brutальный внедорожник, не новая модель, но ухоженный, с мощным кузовом и тонированными до черноты стёклами. Он не врос в это место — он застолбил его, как хищник метит территорию. Под тусклым светом его лак отливала синевой, словно масляная плёнка на воде.

Возле него стояли трое. Они не копошились — они оккупировали пространство. Их фигуры в костюмах казались чужеродными, как смокинги в гараже, но в этой чужеродности была своя, звериная правда. Костюмы были хорошими, но не безупречными — слегка мятые, с плечами, слишком широкими для офиса, с галстуками, туго затянутыми на шеях толщиной с оглоблю. Лица — чисто выбритые, но с той особой, грубой чистотой, которую оставляет опасная бритва в жёстких руках. Это были не джентльмены. Это были волки, наряженные в овечьи шкуры, которые уже перестали притворяться.

Первый, прижавший парня к холодной двери, был шире всех. Его тёмно-синий пиджак едва сходил на мощной груди. Лицо — квадратное, с тяжёлой челюстью и маленькими, запавшими глазами, которые блестели в полутьме, как мокрые камешки. Дыхание его пахло не дорогим кофе, а крепким, дешёвым кофе и прошлогодним коньяком, заевшим в зубах.

— Ты думаешь, у тебя есть куда падать, щенок? — прорычал он, и его голос был хриплым, простуженным, будто от постоянного крика. — Ты уже на дне. И мы тут — булыжники на этом дне. Ты об них всю морду обдерешь, пока будешь пытаться выплыть.

Второй, в сером костюме, который сидел на нём мешковато, стоял, переминаясь с ноги на ногу, как боксёр перед боем. Жидкая, тёмная бородка не скрывала нервный тик в углу рта. В кармане его пиджака что-то тяжело и тупо перекатывалось — может, свинцовые катки для усиления удара, а может, и просто отполированные камешки для уверенности. Он присвистнул, обнажив жёлтые, неровные зубы.

— Папочка твой нагреб долгов. Красиво. А теперь ты — его наследство. Неприятное, блядь, наследство. Счётчик тикает, малый. И он не на батарееках. Он на твоих рёбрах заведён.

Третий, самый высокий, в чёрном, безразмерном пальто поверх костюма, молчал. Он стоял неподвижно, как столб, его чисто выбритое лицо было пустым, как чистый лист перед угрозой. Но в этой пустоте читалась не дисциплина, а тупая, звериная готовность. Когда он заговорил, его голос прозвучал глухо, без интонаций, как удар бревна по земле.

— Не думай, что мы уйдём. Мы тут теперь, как твоя тень. Только страшнее. И покрупнее.

— Шевелись, блядь, быстрее, — вернулся к теме второй, наклоняясь так, что парню в лицо ударило волной перегара и пота. — Пока мы тут с тобой по-хорошему говорим, проценты

нарастают. Как грибы после дождя. Твоя шкура уже не потянет, чтобы все покрыть. Придётся кости в зачёт пускать.

Парень сглотнул. Ком в горле был не только от страха, но и от оскорбительной, животной грубости этого всего. Эти рожи, эти голоса, этот запах — всё кричало о беспросветном, утробном насилии, которое даже не пытается выглядеть цивилизованным.

— Да что вы за твари... — прошипел он, и голос его сорвался в хриплый, беспомощный визг. — В костюмах... сволочи...

Удар пришёл не от того, кто говорил. Третий, молчаливый, просто шагнул вперёд. Его кулак в тонкой кожаной перчатке (единственный намёк на «приличие») вышел из тени и впечатался парню в солнечное сплетение с коротким, тупым звуком, как мешок с песком упал на землю. Воздух с хрипом и брызгами слюны вырвался наружу. И понеслось. Не было изящных приёмов. Был разнузданный, грубый разбор. Тяжёлое, сопящее дыхание. Глухой, мясной стук костяшек по рёбрам, по почкам, по мягким местам на боках. Приглушённый стон, когда его лицом вдавили в холодное стекло машины. Он отбивался, слепо, отчаянно, с немым рыком, попадая кулаком по щеке второго (тот только фыркнул и сплюнул кровь) и локтем в живот первому. Но их было трое. Они были тяжелее, злее, привычнее к боли. Они били не чтобы убить, а чтобы сломать — дух, волю, сопротивление. Силы уходили с каждым ударом, с каждым глотком собственной крови, солёной и горячей.

Они отступили так же внезапно, как начали, — не от усталости, а от пресыщения. Урок был вбит кулаками. Парень сполз по дверце, оставляя на глянце мутный след от лица, и рухнул на асфальт. Он плюнул — алая слюна смешалась с серой городской пылью.

Широкоплечий первый встал над ним, загораживая свет фонаря, превращаясь в огромную, бесформенную тень.

— Въехал, щенок? Въехал наконец? Зарубку на носу сделай. Мы не шутим.

— С нами в поддавки играть — себе дороже, — сказал второй, вытирая тыльной стороной ладони разбитую губу. На его костяшках тоже краснели ссадины. — Мы не из тех, кто забывает.

Третий, молчаливый, просто подошёл. Его сильные, как стальные капканы, руки вцепились в плечи парня, оторвали от машины и швырнули, как мешок с тряпьем, на мокрый, замусоренный тротуар. Движение было лишено даже злости — лишь презрительная, бытовая грубость.

Не удостоив свою работу больше ни взглядом, трое развернулись и, толкаясь, уселись в салон внедорожника. Дверцы захлопнулись с тяжёлым, финальным лязгом. Мотор взревел, не рывкнул, а именно взревел, разорвав тишину. Яркие фары на мгновение выхватили из тьмы облупленную стену, ржавую урну и его — согнувшуюся, побеждённую фигуру в грязи. Затем машина рванула с места, шины взвизгнули, и она исчезла в чёрной пасти переулка, оставив после себя вонь бензинового выхлопа и глухую, давящую тишину.

Тишину, которую теперь рвал только его собственный, прерывистый, хриплый вздох. Боль разошлась тупыми, тяжёлыми волнами. Но хуже боли была грязь. Грязь физическая — на одежде, на лице, во рту. И грязь моральная — от этого унижительного, животного насилия, которое даже не пыталось прикрыться изяществом. Безысходность накатила густая, липкая, как мазут. Он обхватил голову руками, запустил пальцы в волосы, слипшиеся от пота и крови. В горле стоял ком, но плакать он не мог. Только трястись от ярости и бессилия.

— Боже... — прохрипел он в никуда. Это была не молитва, а проклятье самому факту своего существования. — Ну и жизнь, мать твою...

Потом, с усилием, поднял голову. В разрыве грязных туч тускло мерцали звёзды. Холодные, далёкие, безразличные. Как взгляды тех троих, прежде чем они начали бить.

— Спасибо большое, пап... — выдавил он, и горечь в его голосе была теперь едкой, как желчь, и тяжёлой, как свинец. Он благодарил за то, что оказался здесь, в этой грязи, лицом к лицу с волками в мятых костюмах.

Ночь в Лэнгборуке втянула в себя и эту порцию боли — грубой, неприкрытой, вонючей. Это был не изящный укол системы, а тупой удар дубиной. И это было только начало. Начало войны, где правил не расчёт, а звериная злоба, прикрытая дешёвым ширпотребом с витрины «всё по сто».

В мире Квинн Эванс не существовало липкой ночной темноты. Её вселенная начиналась там, где заканчивался запах мокрого асфальта и отчаяния, за порогом её спальни, в двухэтажном особняке на Рэдвуд-стрит.

Здесь царил не мрак, а свет, прирученный и распределённый с безупречным вкусом. Утреннее солнце, преломляясь в хрустальной подвеске люстры, не било в глаза, а рассыпалось по комнате тысячами радужных зайчиков. Главный же луч, тонкий и упрямый, как золотая нить, пробивался сквозь щель между ламелями белых жалюзи. В его сияющем луче парили, медленно вращаясь, мириады пылинок — не грязной уличной пыли, а домашней, почти стерильной, превращённой светом в магический золотой песок.

Воздух был напоён ароматами, которые не маскировали реальность, а создавали её. Сладковатая, успокаивающая ваниль из керамического диффузора, острый, чистый запах цитрусового моющего средства с только что вымытого паркета, едва уловимый шлейф дорогих духов с её туалетного столика. Эти запахи складывались в симфонию уюта и порядка.

На прикроватной тумбочке из светлого дуба, рядом с чёрно-белой фотографией, где она в восемь лет стоит между улыбающимися родителями на палубе яхты, был открыт ноутбук. Из его тонких динамиков струилась музыка. Не просто фон, а звуковой ландшафт её утра: сдержанный джазовый стандарт, где бархатный голос саксофона вплетался в узор плавных, как течение реки, пассажей фортепиано, а негромкий, чёткий бит задавал внутренний пульс.

Под этот ритм Квинн и двигалась. Она не просто собирала вещи в кожаную сумку-тоут цвета какао, лежавшую на кровати под балдахин. Она исполняла свой ежедневный, ни для кого не видимый танец. Движения её были отточены годами и естественны, как дыхание: лёгкий полуповорот на подушечке босой ноги, чтобы дотянуться до учебника на полке; изящный наклон, когда она поднимала с кресла свитер; едва уловимое, гармоничное покачивание плеч в такт музыке. Это был её сакральный ритуал перехода из мира снов, мягких подушек и невесомости, в мир дня — чёткий, структурированный, прекрасный.

Из глубины дома, сквозь два этажа и закрытые двери, донёсся голос. Не крик, а тёплый, вибрирующий поток звука, который знал каждую щель в стенах и каждую складку на шторах.

— Квинн Эванс, ты скоро? Я тебе фруктовый салат собрала!

Квинн, не прерывая движения, скользнула к дверному проёму, её фигура вычертила в воздухе изящную дугу.

— Хорошо, мам, спасибо! Скоро спущусь!

На экране ноутбука, поверх обложки альбома с абстрактной акварелью, мягко всплыло, будто пузырёк воздуха со дна стеклянного сосуда, уведомление. Джун. Лучшая подруга. Единственная, с кем можно было говорить о чём угодно, не боясь быть неправильно понятой.

«Привет, любимка, я сегодня опоздаю на пары, предупреди, если что.»

Пальцы Квинн, тонкие и быстрые, застучали по клавишам серебристой клавиатуры — лёгкий, сухой стук, вторивший джазовому биту.

«Привет, без проблем, а что случилось?»

Ответ пришёл почти мгновенно, и Квинн мысленно представила, как её подруга, кутаясь в старый халат, судорожно печатает на кухне своего уютного домика.

«Да мама попросила с ней сходить жалобу написать. Говорит, ночью на улице кто-то опять шумел, по видеорекамере, кажется, опять драку устроили.»

Квинн поморщилась, её брови, выщипанные в идеальную дугу, сблизились. Она мысленно перенеслась в тот район — облупившиеся фасады, гудящие трансформаторные будки, мутные окна магазинчиков с решётками. Абсолютная, тотальная противоположность её

тихому, огороженному высоким забором, патрулируемому частной охраной кварталу, где самое громкое событие ночи — это мурлыканье соседского кота на крыше.

«Уу, думаю, вам пора побыстрее переезжать с того района,» — отправила она, и в её словах сквозила не столько забота, сколько лёгкое, почти инстинктивное отторжение того хаоса, который мог существовать так близко.

«Ага, это точно. Скоро, надеюсь.»

Закрыв мессенджер, Квинн на мгновение замерла, окидывая взглядом свою идеальную вселенную. Всё было на своих местах: книги, расставленные по цвету корешков; коллекция ароматических свечей на каминной полке; огромное зеркало в резной раме, отражавшее светлое, просторное пространство. Всё было закончено, завершено, безопасно.

Она надела платье. Бежевое, из струящегося итальянского трикотажа, с кроєм, который казался простым лишь на первый взгляд. На ней оно сидело безупречно, подчёркивая каждую линию, каждый изгиб. Оно стоило, как она однажды случайно услышала, половины месячной зарплаты её матери — директора цветочной компании. Этот факт не вызывал в ней гордости, лишь тихое, принимаемое как данность осознание порядка вещей. Поправила каштановые волосы, собранные в пучок, который выглядел небрежным, но на создание которого уходило десять минут тщательной укладки. И затем — ринулась вниз по широкой лестнице с перилами из тёмного дерева, её лёгкие шаги почти не звучали на ступенях, покрытых толстой ворсистой дорожкой. Навстречу ей плыл аромат свежесваренного кофе — густой, горьковатый, обещающий энергию.

В прихожей, где на мраморном полу играли блики от хрустальной люстры-слезы, её уже ждала мать. Элеонора Эванс. Утончённая, в идеально сидящем деловом костюме цвета пыльной розы, с жемчужными серёжками в ушах. На её лице, которое могло бы украсить обложку журнала о светской жизни, заботы оставили не морщины, а лёгкие, изящные тени у глаз, придававшие взгляду глубину и лоск умудрённости.

— Поехали скорее, мне тоже опаздывать нельзя. Совещание в девять, — сказала она, сунув в сумку дочери прозрачный, идеально чистый контейнер. Внутри, как драгоценные камни в витрине ювелира, сверкали кусочки манго, киви, клубники и брусники.

— Не волнуйся, успеешь, — улыбнулась Квинн, целуя мать в щёку, вдыхая её фирменный, сложный аромат — смесь фрезии, кожи и чего-то неуловимого, что было просто «мама».

Их ждала не машина. Их ждал артефакт. Чёрный Porsche 911, приземистый, блестящий, как панцирь жука-скарабея. Его линии были агрессивны и элегантны одновременно — воплощение мощи, заключённой в безупречную форму. Он был вчерашней игрушкой отца, который уже загорелся новой мечтой, и теперь временно служил матери. Та садилась за руль не как хозяйка, а как временная хранительница опасной реликвии.

— Отец бессовестный, конечно, — вздохнула она, вставляя ключ. Двигатель отозвался не рокотом, а низким, сдержанным рычанием, идущим из самых глубин инженерного гения. — Мне страшно на ней ездить. Кажется, стоит чихнуть, как она сорвётся с места и въедет в чей-нибудь забор.

— А он куда на твоей уехал? — спросила Квинн, с наслаждением откидываясь на кожаное сиденье, которое принимало форму её тела, как старательный слуга.

— По работе склад новый смотрят. Написал мне, что там грязно очень, дорога ужасная, машину жалко.

— А твою значит не жалко, — усмехнулась Квинн, и в её голосе звучала не колкость, а привычная, тёплая ирония.

Мама в ответ только покачала головой, но улыбка, маленькая и сокровенная, тронула уголки её тщательно подведённых губ. Она плавно тронула с места, и мир за тонированными стёклами поплыл. Они не ехали по городу. Они проплывали сквозь его слои, как подводная лодка сквозь толщу воды: от тихих, зелёных глубин Рэдвуд-стрит к оживлённым, сверкающим

коралловым рифам делового центра. Комфорт внутри был абсолютным, герметичным. Звуки города не долетали сюда, оставались снаружи, приглушённые. Это была капсула, отгороженная не только стеклом, но и невидимой стеной цен, статуса и выбора.

На одном из светофоров, когда поток машин замер, мать повернула голову.

— Ты у меня такая красивая, — тихо сказала она, и в её глазах вспыхнуло что-то настоящее, не связанное ни с совещаниями, ни с бизнесом. — Налюбоваться не могу.

— Спасибо, мам, — Квинн улыбнулась в ответ, но в эту улыбку, как тень от быстро пролетевшей за окном птицы, мелькнула грусть. — Жаль, что не все это ценят...

— Ой, да брось, — махнула рукой мама, уже снова глядя на дорогу, её взгляд стал сосредоточенным, деловым. — Забудешь ты своего, как его там...

— Кевин, мам.

— Неважно. Он не заслужил тебя. Ты у меня стоишь большего.

«Большого». Это слово повисло в воздухе, наполненное ароматом кожи и тихим гулом двигателя. Оно значило диплом самого престижного университета. Выгодную партию с наследником такой же, если не большей, капсулы. Надёжное, предсказуемое, блистательное будущее. Мир, в котором не было места ночным дракам под сломанными фонарями, миру, который остался где-то там, за бортом их стремительного, бесшумного движения.

— Хорошо, мам, я запомню, — автоматически, почти рефлекторно ответила Квинн. Она уже смотрела в окно.

Машина бесшумно подкатила, как карета к театру, к зданию. Но это был не театр. Это был Университет Лэнгборука. Храм не богов, а знаний. Гигантская конструкция из стекла, стали и полированного бетона, отражавшая небо и самоуверенность. Самый престижный. Кузница элиты. Здесь училась Квинн, заканчивая четвёртый курс экономического факультета. Оставался год — последний аккорд в симфонии её идеальной подготовки к жизни.

— Всё, я побежала, удачи, мам!

— Удачи, бусинка.

Ещё один быстрый, ритуальный поцелуй в щёку, и Квинн выпорхнула из салона, будто её вытолкнула наружу накопленная внутри энергия. Её бежевое платье мелькнуло на фоне сурового серого фасада, а затем растворилось в потоке. В потоке таких же, как она: молодых, красивых, прекрасно одетых, с дорогими гаджетами в руках и непоколебимой уверенностью в своём будущем во взгляде. Porsche, сделав элегантный разворот, плавно тронулся, увозя мать в её мир деловых встреч и стратегий.

— --

У входа, на широких, отполированных тысячами подошв каменных ступенях, её уже ждали двое. Они были не просто друзьями. Они были частью ландшафта её мира, такими же неотъемлемыми, как фасад университета или кожаные сиденья в машине.

Вильям, оперевшись на перила, ловил на своём лице первые лучи солнца с выражением спокойного, врождённого превосходства. Джонсон, стоя рядом, с сумкой из престижного бренда через плечо, был сдержаннее, но в его глазах горел тот же блеск амбиций и понимания правил игры.

— Эванс! Иди к нам! — подозвал Вильям, сделав характерный, чуть ленивый взмах головой, который означал одновременно и приветствие, и приказ.

Квинн ускорила шаг. Её лёгкие кеды из белой замши почти бесшумно застучали по отполированному камню, отбивая свой собственный, быстрый ритм.

— Привет, ребят. Вы чего тут тусуетесь? — сказала она, останавливаясь перед ними, и в её голосе звучала лёгкая, снисходительная нота — они все были здесь хозяевами.

— Да вот тебя ждем, — сказал Джонсон, понизив голос и наклонившись чуть ближе, будто делился государственной тайной. — С новостями.

— Надо же, — Квинн приподняла бровь, идеально выгнутую. Игра началась. — Что за новости? Преподы опять программу меняют? Опять хотят нас завалить?

Вильям фыркнул, и в его фыркание слышалось презрение ко всему, что могло нарушить их отлаженный путь.

— Куда интереснее. К нам новенький поступил. Вернее, перевелся. С какого-то левого колледжа на окраине. Представляешь?

Все трое на мгновение замолчали. В воздухе повисло молчаливое соглашение, обмен взглядами, полными одного вопроса: «Кто? Откуда? Зачем?» В их закрытую, отлаженную экосистему, где каждый знал своё место, поступал неизвестный элемент. Это всегда было событием, маленьким землетрясением.

— М-да... новость супер, — протянула Квинн, скрестив руки на груди. В её тоне была лёгкая, врождённая снисходительность, позаимствованная у родителей и отточенная годами на вершине студенческой пищевой цепочки. Но затем, почти против воли, её лицо смягчилось. — Ну, с другой стороны, кто знает, какие у него причины. И Джун немного опоздает, кстати.

— Вот это ты в точку подметила, — оживился Джонсон, и в его глазах загорелся азарт охотника, увидевшего интересную дичь. — Раз он одинок и потерян — мы его подберем себе. Расширим круг. Посмотрим, на что он годен.

— Было бы классно, — согласилась Квинн, хотя в её голосе звучала скорее вежливость, чем настоящий энтузиазм. Её мир и так был полон, завершён. Нужен ли ему новый элемент?

— Ребят, время, — напомнил Вильям, бросив быстрый, привычный взгляд на дорогие механические часы на запястье. — Надо бежать. Как бы сами не опоздали и не стали темой для обсуждения.

Их троица, единым фронтом, двинулась к массивным стеклянным дверям, которые бесшумно раздвинулись перед ними, впуская в храм знаний.

Прошло две лекции. Они пролетели, как сон — плавный, монотонный, предсказуемый. Голос профессора мерцал с проектора, формулы всплывали на белой доске, как заклинания из уже известного гримуара. И вот, когда мозг, отягощенный теорией, начал требовать якоря в реальности, настало время практического семинара.

Аудитория для этого была идеальна — не огромный амфитеатр, а компактный, камерный зал. Лаборатория, а не храм. Столы из светлого дерева были расставлены полукругом, каждый оснащен встроенным монитором, клавиатурой с матовым покрытием и бесшумной беспроводной мышью. Воздух пахнет не пылью книг, а озоном от техники и легким ароматом цитрусового очистителя для экранов. Здесь всё было подчинено одной цели — прикладному применению идеальной теории.

Их компания, не сговариваясь, оккупировала последний ряд. Это было их тактическое преимущество — отсюда, с возвышения, был виден весь «зал заседаний»: спины однокурсников, экран, преподавательский стол. Это была позиция наблюдателей, стратегов. Они тихо перешёптывались, обмениваясь замечаниями, параллельно решая задачи в фирменных тетрадах с тиснённым логотипом Университета Лэнгборука — золотой совой на фоне раскрытой книги. Их ручки скользили по гладкой, плотной бумаге, оставляя чёткие, аккуратные строки. Здесь царил ритуал продуктивности.

Дверь приоткрылась, и к ним, согнувшись, словно стараясь быть незаметной, подкралась Джун. Она упала на свободное кресло, отдышалась.

— Может, новость про новенького была ошибочная? — прошептала она, сразу же включаясь в общий поток. — Кто это вообще сказал?

— Не знаю, мне ребята передали, — пожала плечами Квинн, не отрываясь от тетради. Кончик её карандаша выводил на полях не цифры, а изящный, завивающийся в спираль орнамент — бессознательный танец мысли. — Да думаю, скоро придет, если это правда.

Как будто услышав её, дверь в аудиторию открылась снова. Но вместо привычной фигуры семинариста, сгорбленной под тяжестью старых конспектов, вошёл человек, чьё присутствие само по себе наводило тишину, густую, как кисель. Заведующий кафедрой. Его лицо, скульптурное и непроницаемое, казалось, было высечено не из плоти, а из серого, вечного гранита. И следом за ним – Он.

Группа замерла в середине движения, в полувдохе. Затем по рядам пробежал лёгкий, приглушённый гул – звук коллективного любопытства, смешанного с мгновенной, безжалостной оценкой.

Парень был... не таким. Это было ясно с первого взгляда, с первой миллисекунды восприятия. Одежда – простая, но не бесформенная. Тёмные, слегка поношенные джинсы, не обтягивающие, но и не мешковатые, сидели так, будто были его второй кожей. Простая серая футболка из тонкого хлопка, под которой угадывался не накачанный в спортзале рельеф, а подтянутое, жилистое тело, сотканное из напряжения и скрытой силы, как тетива лука. Но главное – лицо. Смугловатое, с резковатыми, словно вырубленными на скорую руку чертами: высокие скулы, твёрдый подбородок, густые брови. И глаза. Слишком внимательные. Слишком проницательные. Они не скользили по поверхности, а будто сразу пытались прощупать глубину, оценить обстановку, как сканер. Он был красив, но красотой диковатой, неровной – красотой лесного ручья с острыми камнями, а не отполированного фонтана в саду.

— А что он такой побитый? — вслух, не в силах совладать с импульсом, прошептала Квинн. Её взгляд прилип к свежему, красно-сине-фиолетовому синяку, цвевшему под его левым глазом, и к ссадине на нижней губе, подчёркнутой запёкшейся корочкой. — Его из-под машины достали?

— Чшшш, ты чего, тише! — Джун пихнула её локтем в бок, смущённо улыбаясь, но её собственные глаза тоже были прикованы к новичку.

Завкафедрой откашлялся – звук сухой, как треск сломанной ветки. Его ледяной взгляд, пробежав по аудитории, погасил последние шёпоты.

— Добрый день. В вашу группу перевёлся новый студент. Прошу любить и жаловать.

Все взоры, как по команде, устремились на парня. Он стоял немного скованно, но не робко. Его осанка выдавала привычку к напряжению, готовность в любой момент либо отпрянуть, либо нанести удар. Он не сутулился и не выпячивал грудь – он просто занимал пространство, которое считал своим в данный момент.

— Всех приветствую, — сказал он. Голос был низким, с лёгкой, приятной хрипотцой, будто от долгого молчания или от крика в пустоту. — Адам Смит. Вашему вниманию.

Он коротко, почти небрежно помахал рукой, проводя взглядом по аудитории. Взгляд этот был быстрым, сканирующим. И на какое-то мгновение – дольше, чем нужно для простого любопытства – он остановился на Квинн. Не на Джун, не на Вильяме, а именно на ней. Она почувствовала это не как взгляд, а как физическое касание – точку тепла на коже щеки. По её спине, от копчика до шеи, прокатилась волна мурашек – странный коктейль из неловкости, досады и непрошеного, острого интереса.

— Странный типчик, — снова прошептала она, уже самой себе, отводя глаза и делая вид, что изучает свои записи. — Не находите?

— Да не, ровный пацан, — парировал Вильям, изучая новичка с видом знатока, оценивающего скаковую лошадь. — Чую. В нём что-то есть.

— Ну да, по виду так и есть, — усмехнулся Джонсон, его глаза сверкнули азартом. — Сдружмся. Будет нам рассказывать, как это – путешествовать с такими сувенирами, — он сделал едва заметный, но выразительный кивок в сторону синяка под глазом Адама.

Парни тихо, сдержанно хихикнули – звук, полный братского понимания и лёгкой издёвки.

— Вы уже собираетесь об него кулаки точить? — с упрёком, но без злобы сказала Джун. — Парни, успокойтесь. Он же новенький.

— Они шутят, — автоматически, почти машинально сказала Квинн, всё ещё чувствуя на себе отголосок того взгляда, как тепло от только что погасшего уголька. — Всё нормально.

Пока Адам что-то подписывал у преподавателя, в группе кипела невидимая работа. Шёпот, похожий на шелест листьев перед бурей. Быстрые, оценивающие переглядывания. Молчаливые вердикты, выносимые в уме.

— Давайте его сюда позовем, — предложила Джун, всегда игравшая роль миротворца и души компании. — Рядом с нами сядет. Интересно же.

— Почему бы и нет, — пожал плечами Вильям, уже представляя, как этот «дикарь» вольётся в их стаю.

— Ну, мы не против, — Джонсон обернулся к Квинн, ожидая её вердикта. — Квинн?

Девушка сидела, подперев голову рукой, и задумчиво смотрела в одну точку на паркете, где солнечный луч выхватывал из полумрака сложный узор деревянных плиток. Она будто пыталась там что-то разглядеть – ответ, предчувствие, тень.

— Ау! Земля вызывает Квинн Эванс! — Джонсон щёлкнул пальцами прямо перед её лицом, нарушая чары.

Она вздрогнула, моргнула.

— А? Да. Ну, пускай садится. Послушаем его интересные истории. Где он так... путешествует, — сказала она, и в её голосе прозвучала лёгкая, нарочитая небрежность, призванная скрыть внезапное смятение.

Когда формальности были окончены и преподаватель, пожилой мужчина с вечно усталыми глазами, начал бубнить что-то о коэффициентах эластичности и предельной полезности, Адам с неслышными, кошачьими шагами подошёл к их ряду. Ребята встретили его оценивающими, но теперь уже более дружелюбными, открытыми взглядами. Игра началась.

— Что ж, добро пожаловать в нашу группу, — сказал Джонсон с деловой, но искренней улыбкой. — Джонсон.

— Вильям.

— Ну, хватит формальностей, мы тут не на приёме у декана, — Джонсон протянул руку через стол. Адам пожал её – крепко, уверенно, но без попытки подавить, затем руку Вильяма. Его ладонь была шершавой, тёплой.

— Адам. Приятно.

Затем он повернулся к девушкам. И снова его взгляд, тёмный и неспешный, нашёл Квинн. В его глазах не было наглости, было спокойное, изучающее внимание.

— Дамы, с вами можно познакомиться?

— Конечно, — поспешила ответить Джун, радушная и открытая. — Я Джун, а это Квинн.

Квинн кивнула, стараясь сохранить лёгкую, непринуждённую улыбку. И её язык, будто действуя сам по себе, вопреки воле и приличиям, выдал вопрос, который висел в воздухе с первой минуты, как запах дыма после пожара:

— Где тебя так... поколотили?

Адам усмехнулся. Улыбка коснулась только уголков его губ, отчего ссадина на нижней слегка побелела, напрягшись. Он открыл рот, чтобы ответить, но их зарождающийся диалог был грубо прерван. Перед их столом, как тень, возник преподаватель.

— Адам, я, конечно, понимаю, — произнёс он сухим, неодобрительным голосом, — что у тебя есть несомненное преимущество в очаровании определённой части аудитории, — он бросил строгий, говорящий взгляд на девушек, — и что всё самое лучшее принято разбирать первым. Но у нас, к сожалению, идёт занятие.

Адам мгновенно кивнул, на его лицо набежала маска почтительного смущения. Он наклонился к своей чистой, нетронутой тетради, и его губы, почти не шевелясь, выдохнули шепот, такой тихий, что он достиг только уха Квинн:

— Упал. Неудачно.

Затем он поднял голову и сказал уже громко, чётко и с абсолютной, почти показной серьёзностью:

— Прошу прощения. Не буду больше никого отвлекать от работы.

Квинн и Джун смущённо переглянулись, чувствуя на себе вину за это маленькое нарушение порядка. Но лёд, пусть и с треском, был сломан.

В течение оставшегося дня, на перерывах между парами, общение у ребят складывалось легко и непринуждённо. Адам оказался не болтлив, но на шутки и вопросы отзывался сухой, остроумной репликой, всегда попадающей в цель. Он слушал внимательно, не перебивая, и в его внимании было что-то по-взрослому уважительное, без тени подхалимства или желания понравиться. Он был другим. Но это «другое» начало постепенно притягивать, как тёмная материя, невидимо искривляющая пространство их светлого, предсказуемого мира. И Квинн ловила себя на том, что её взгляд, будто против её воли, снова и снова возвращается к свежей ссадине на его губе и тёмному, живописному пятну синяка под глазом. Она пыталась разгадать историю, которая не укладывалась в простое, скользкое «упал». Эта история пахла не гранитом университетских коридоров, а ночным асфальтом, потом и чем-то острым, металлическим — возможно, страхом, а возможно, яростью

Для большинства студентов долгожданным финалом учебного дня был звонок. Тот самый, чистый и пронзительный, что разрезал ленту лекции, отпуская на свободу. После него можно было раствориться в городском муравейнике, затеряться среди полок библиотек, пахнущих старым переплетом и тишиной, или просто исчезнуть в личном цифровом пространстве. Но для небольшой, избранной группы этот звонок был не финалом, а прологом. Настоящий день, день страсти и смысла, начинался после.

В кругах посвящённых это называлось коротко и ёмко — «Актив». Пять независимых студенческих советов — пять маленьких республик, по одной от каждого факультета, кипевших не учебными планами, а живыми идеями, амбициями и неукротимой энергией. Для Квинн Актив экономического факультета был не строчкой в резюме, не обязанностью. Это была её отдушина, её личный, тайный кислород. Тот самый, что придавал её размеренной, выверенной жизни взрывные, кислотные краски, неконтролируемые эмоции и ту самую, головокружительную свободу, которую не купить ни за какие родительские деньги. Здесь она была не просто Квинн Эванс, наследницей состояния. Здесь она была творцом, лидером, частью организма.

Многие считали безумием оставаться после пар в этих стенах, тратить вечера на репетиции в пустых залах, мозговые штурмы до хрипоты и подготовку мероприятий, от которых звенело в ушах и немели ноги. Но наши герои были из другого теста. Для них это было не наказанием, а закалкой. Той самой, что ковала не только дух, но и учила чувствовать тело в движении, слышать не голос, а ритм команды, падать с улыбкой и подниматься, отряхивая пыль с колен, чтобы сделать следующий шаг — уже увереннее, уже сильнее.

Сегодня был плановый сбор, и в воздухе висело предвкушение важного. Предстояло огласить главную информацию семестра, ту самую, что задаст тон следующим полутора месяцам. Квинн, как заместитель руководителя Актива — статус почётный и хрупкий, ведь должности менялись раз в год по итогам жёсткого, почти парламентского голосования, — чувствовала под кожей лёгкое, приятное волнение, похожее на дрожь струны перед началом концерта.

Большая аудитория-амфитеатр, обычно пустынная в это время, постепенно наполнялась жизнью. Студенты с первого по пятый курс, объединённые не только факультетом, но и особым огнём в глазах, рассаживались по рядам. Звучал сдержанный гул десятков перешёптываний,

всплески смеха, шуршание курток. Впереди, за длинным столом из светлого дерева, царила «легендарная тройка»: Сэм, харизматичный и невозмутимый руководитель с волевым подбородком и спокойными глазами капитана, и его замы — Квинн и Джонсон. Они сидели, наблюдая за прибывающими, уже будучи частью иного пространства — пространства ответственности.

Дверь с грохотом распахнулась, нарушив нарастающую торжественность. Вильям и Джун, запыхавшиеся, вторглись в зал, почти втащив за собой Адама. Тот выглядел как человек, нечаянно попавший на закрытый клубный вечер в пижаме. Его глаза, широко раскрытые, метались по рядам, считывая десятки обращённых на него любопытных взглядов.

— Ему можно ведь? — с ходу, не сбавляя обороты, начала Джун, указывая на Адама большим пальцем, как на необычный экспонат.

Вильям, мастер импровизации, тут же подхватил, разыгрывая целое представление:

— Он, конечно, не проходил посвящение, — Вильям сделал таинственную паузу, — но клянётся, что горит желанием влиться в актив! Клянётся кровью! Ну, или потом. Не подведёт. Да, Адам?

Адам, стоя посреди прохода под прицелом всеобщего внимания, лишь ошарашено кивал, будто соглашаясь с чем угодно — с предложением вступить в клуб, продать почку или полететь на Марс, — лишь бы это прекратилось.

Квинн прикрыла глаза ладонью, медленно опустив голову. «Боже...» — пронеслось у неё в голове, смесь раздражения и невольной забавы.

Сэм, сидевший во главе стола, как судья на трибуне, медленно поднял одну, идеально выгнутую бровь.

— Вообще-то, по правилам, так нельзя. Сначала рекомендации. Потом голосование. Потом, если пройдёт, — посвящение. У нас не секта, конечно, но порядок есть порядок.

— Но он новенький! — не сдавался Вильям, изображая неподдельную жалость. — Одинокий волк в нашем густом лесу! Может, один раз сделаем поблажку? Посмотрим, на что способен. А там, глядишь, и посвящение само собой.

Сэм задумался ровно на ту драматическую секунду, которая была необходима, чтобы подчеркнуть свою власть и милосердие. Потом махнул рукой в сторону свободных мест у их компании.

— Ладно. Проходи. Но на птичьих правах. Пока. Испортишь — вылетишь быстрее, чем успеешь чирикнуть.

Адам кивнул, и, стараясь быть как можно менее заметным, проскользнул к друзьям, будто тень. Квинн смотрела на эту сцену с лёгким недоумением, но уголки её губ предательски дрогнули, выдав ту самую, сокрытую улыбку, которая появлялась только в моменты искренней, неформальной жизни.

— Когда вы успели его уговорить? — прошептала она Джун, когда те уселись рядом, создавая свой маленький островок в бурлящем зале. — И про всё рассказать?

— На обеде. Тебя с нами не было, ты с Сэмом и Джонсоном совещалась, — так же тихо ответила подруга, её глаза блеснули от восторга проделанной авантюры.

— У нас были важные переговоры с «высшим руководством», — с важным, слегка напыщенным видом добавил Джонсон, кивая в сторону пустого теперь президиума. — Сейчас всё узнаешь. Приготовься.

Наконец, когда аудитория насытилась людьми до краёв, Сэм встал. Он не потребовал тишины — она воцарилась сама собой, как затихает лес перед грозой. Разговоры угасли, все взоры обратились к нему.

— Всем привет. Кого не видел сегодня — особенно рад, — начал он, его голос, ровный и уверенный, нёсся без микрофона. — У нас для вас есть новости. Важные. — Он сделал

драматическую паузу, дав каждому слово прочувствовать. — Наступает финишная прямая этого курса. И последнее, самое громкое мероприятие сезона — наше.

По рядам пробежал возбуждённый, сдерживаемый шёпот, будто ветерок по ковылю.

— Последнее мероприятие — VELVET, — чётко, ясно, как удар камертона, произнесла Квинн, вставая рядом с Сэмом. Её голос, чистый и звонкий, заполнил собой каждый уголок зала.

Реакция была мгновенной и оглушительной. Аудиторию захлестнула волна — не просто аплодисментов, а восторженного гула, свиста, радостных, нечленораздельных выкриков. Velvet был не просто мероприятием. Это была легенда. Годовой пир, карнавал, на который факультет экономики приглашал весь университет. Это была их гордость и крестовый поход. Активы других факультетов выступали там в роли почётных гостей и достойных конкурентов, но вся тяжесть — от гениальной концепции до последнего стежка на костюме, от первой до последней ноты — лежала на их, экономических, плечах. Это была их битва за славу.

Джонсон поднял руку, постепенно наводя порядок, как дирижер, берущий под контроль разноголосый оркестр.

— В этом году мы решили зажечь по-новому. Играем по-крупному. От каждого института- участника необходимо будет представить три номера: соло, дуэт и командный танец.

Он снова сделал паузу, наслаждаясь моментом, вкусом власти и всеобщего внимания.

— А выигрышем в каждой номинации станут банковские сертификаты. На очень круглые суммы. Заработать своим талантом, а не чеком от папы — это, согласитесь, особый кайф.

В воздухе повис вкус азарта, сладкий, пьянящий, почти осязаемый. Это был не запах денег родителей, а запах собственной победы, возможности, выкованной своими руками (и ногами). Квинн краем глаза заметила, как лицо Адама стало сосредоточенным. Он старался сохранять расслабленную позу, но в его глазах, тёмных и внимательных, на мгновение мелькнула тень — быстрый, тревожный расчёт, вспышка каких-то внутренних выкладок. Затем тень исчезла, сменившись той самой, твёрдой решимостью, которую она уже успела в нём отметить.

— Лично я в танцах, как слон в посудной лавке, — с ухмылкой, снимающей излишний пафос, сказал Джонсон. — Поэтому детали, концепцию и всю эту... хореографическую муть вам озвучит наш главный эстет и хореограф-любитель, Квинн.

Она кивнула, выходя на первый план, чувствуя, как десятки глаз впиваются в неё. Это был её момент.

— Отбор танцоров мы проведём в течение недели. Часть людей уже в списках — сроки горят, некоторые номера нужно ставить уже сейчас. Нам нужно придумать концепцию всего мероприятия и запустить все процессы — от музыки и света до костюмов и рекламы — в ближайшие дни. В общем, — она обвела зал взглядом, — у нас в запасе полтора месяца на то, чтобы сотворить магию. Не подведите.

Сэм снова взял слово, завершая мысль.

— Завтра, после пар, ждём всех здесь на мозговой штурм. Обсудим идеи, распределим функционалы, начнём работать. Всё усвоили? Вопросы есть?

Вопросов не было. Вернее, они были, но тонули в гудящем, как растревоженный гигантский улей, обсуждении. Velvet был тем самым событием, ради которого многие и шли в Актив. Самый сладкий, самый яркий, самый долгожданный пряник оставили на самый конец, чтобы финиш был оглушительным.

После официальной части зал погрузился в хаос — благородный, радостный, творческий. Сэм и Джонсон утонули в толпе, отвечая на вопросы, выслушивая идеи, раздавая поручения. Квинн, чувствуя лёгкую усталость и приятное удовлетворение, присела за свой ноутбук на краю стола президиума. Открыла чистый документ с рабочим названием «velvet_идеи» и стала записывать промелькнувшие мысли, идеи, имена. Она дожидалась, пока первая волна энтузиазма схлынет.

Рядом неслышно опустился на стул кто-то. Не так, как садятся друзья — с шумом и болтовнёй. А тихо, почти крадучись. Она подняла глаза от экрана. Адам. Он сидел, отклонившись на спинку стула, но в его позе не было расслабленности — лишь собранная, кошачья готовность.

— Слушай, а у вас тут в танцы берут только профессионалов? — спросил он. Его низкий голос, чуть хриловатый, прозвучал совсем рядом, нарушая её уединение.

Квинн медленно, будто в замедленной съёмке, повернулась к нему. Отложила карандаш, которым водила по бумажному блокноту (она всегда доверяла тактильному ощущению при рождении идей). Её взгляд стал загадочным, оценивающим, взглядом режиссёра на кастинге.

— Да нет, правила для всех одни. Решим по результатам. Тебе есть что предложить?

— Я был бы не против станцевать, — сказал он просто. Без пафоса, без просительных нот. Констатация факта. — Умею.

Квинн прищурилась. На её губах, всегда таких точных и сдержанных, появилась та самая, чуть насмешливая, искрящаяся улыбка.

— Ого. Недооценённый танцор? — Она едва заметно, но выразительно кивнула в сторону его синяка, того самого, фиолетово-жёлтого пятна под глазом, которое было ярче любой визитки.

Уголок его рта дрогнул. Не в обиде, а скорее в ответ на вызов.

— Хорошая шутка. Но я серьёзно. Может, я и не похож на танцора с глянцевой обложки, но кое-что могу.

— Что ж, — сказала Квинн, снова взяв карандаш и начиная вертеть его между пальцами, — удивишь меня на кастинге.

Она намеренно медленно, чуть картинно, подмигнула ему. Бросок перчатки. Приглашение к игре.

Адам не смутился. Не отвёл взгляда.

— А ты сама хороший танцор?

— Не супер-профессионал, но танцую уже лет восемь. В основном для себя, для души. Но и на сцену выхожу. В этом году очень хочу поставить дуэт. Красивый. Со смыслом.

Парень уважительно кивнул, и в его тёмных глазах мелькнуло что-то похожее на понимание. Не просто вежливость, а узнавание собрата по какому-то, пусть и иному, цеху.

— Претензий нет. Приду на кастинг. Персонально к тебе. Постараюсь удивить.

— Правда? — в её голосе, помимо вызова, зазвучал неподдельный, живой интерес. — Буду ждать. Станцуешь нам соло. Покажешь, на что способен «непохожий» танцор.

В этот момент Сэм, закончив круг общения, хлопнул в ладоши — резко, громко, похозяйски.

— Так, товарищи! Сбор затянулся. Всем огромное спасибо за сегодня. Свободны! Завтра ждём всех тут, с горящими глазами, открытыми умами и тоннами идей! Не опаздывать!

Активисты начали медленно расходиться, группами и поодиночке, прощаясь, договариваясь о завтрашних встречах, споря о концепциях. Адам встал, кивнул Квинн на прощание — короткий, почтительный кивок — и пошёл к выходу вместе с Вильямом и Джун, уже вовлечённый в их общий поток.

Квинн ещё на мгновение задержала на его уходящей фигуре взгляд. «Интересно... — подумала она, закрывая крышку ноутбука с тихим щелчком. — Что ты скрываешь за этим синяком и этим спокойным обещанием удивить?» И, против воли, всем своим существом, она почувствовала, как в привычный, продуманный до мелочей воздух её мира повеяло чем-то новым. Не просто свежим ветром, а сквозняком с улицы, несущим запах ночного асфальта, опасности и нераскрытых возможностей. Обещанием чего-то неожиданного. И, возможно, опасного.

Вечернее солнце, уже не жаркое, а золотисто-медовое, заливало парадный вход университета. Оно не просто светило — оно купало монументальные камни в тёплом, жидком сиянии, превращая серый гранит в янтарь и позолоту. Длинные тени от колонн растягивались, как стрелки гигантских часов, отмечающих конец учебного дня.

У массивных чугунных ворот, под аркой, увитой уже потускневшим клематисом, собралась компания Эванс. Это было их традиционное, негласное место сбора после всех дел — точка пересечения перед расхождением по своим вселенным. К ним, не вливаясь в общий круг, а прислонившись к каменному столбу, присоединился и Адам. Он казался менее скованным, чем в аудитории, но в его позе, в том, как он опирался на столб не для небрежности, а для лучшего обзора, чувствовалась привычная настороженность. Он не умел просто стоять. Он всегда оценивал обстановку.

— Итак, сегодня как? Пешком по домам разбредаемся? — поинтересовался Вильям, с изящной небрежностью засовывая руки в карманы узких, идеально сидящих джинсов. Его тон подразумевал, что есть и другие, куда более интересные варианты.

— Сегодня, к сожалению, да, — вздохнула Квинн, поправляя тонкий кожаный ремешок сумки на плече. Её движение было лёгким, но в нём читалось разочарование. — Отец

укатил с маминной машиной, а свою новую «игрушку» ещё не пригнал из-за какого-то custom-салона. Говорит, ждёт вшивания нитей в швы сидений, наверное.

— Эхх... — протянула Джун с театральным, преувеличенным разочарованием, закатывая глаза. — Ну ладно. Прогулка ещё никому не вредила. Хотя бы воздухом подышим.

Адам, до этого молча наблюдавший, как посторонний, изучающий ритуалы чужого племени, вмешался. Его голос прозвучал спокойно, но вопрос был точным, как укол:

— Кто-то из вас профессиональный водитель? Или с личным шофёром? Просто интересно, как здесь принято перемещаться.

Джонсон фыркнул, обменявшись с Вильямом понимающим взглядом.

— Квинн у нас главный водила, — сказал он, кивая в её сторону. — Когда она садится за руль, то превращается в воплощение концентрации и... лёгкой, контролируемой безбашенности. Страшно представить, что будет, когда она получит свой настоящий гоночный болид.

— Она на дорогах очень ловко держится, — добавила Джун с искренним восхищением. — А когда тебя домой под отличную музыку везут, и город ночной за окном мелькает, как клип... Это вообще сказка. Особенно если успеваешь до родительского комендантского.

— Но пока, увы, без сказки, — улыбнулась Квинн, и в её улыбке промелькнула та самая, хитрая искорка, которую они все знали. — Отец всё ещё в процессе поиска «идеального аппарата», как он выражается. Видимо, идеал — понятие растяжимое.

— Ладно, философы, — решил Вильям, бросая взгляд на дорогие часы, браслет которых сверкнул на солнце. — Расходимся, пока светит солнце и не пошёл противный весенний дождь. Завтра мозговой штурм, силы и светлые головы понадобятся.

Ребята начали прощаться — неформально, тепло, с шутками, напоминаниями о времени завтрашней встречи и обещаниями придумать «самую безумную идею». Джун, махнув рукой, ушла в сторону автобусной остановки, её фигура быстро смешалась с потоками людей. Вильям и Джонсон, обменявшись парой колкостей, направились к подземному блеску входа в метро.

Квинн собралась было двинуться в свою сторону, по широкому, почти пустынному бульвару, но ощутила взгляд. Тяжёлый, неотрывный. Она обернулась. Адам не ушёл. Он стоял там же, у столба, но теперь не прислонившись, а выпрямившись. Он смотрел прямо на неё, и в его позе не было вопроса — было ожидание.

— Кого-то ждёшь? — не удержалась она, поворачиваясь к нему всем корпусом. Её голос прозвучал чуть резче, чем она планировала.

— Тебя жду, — ответил он просто, без тени смущения или игры. — В какую сторону путь держишь?

Квинн на секунду замешкалась. «В какую сторону...» Такой простой, почти старомодный, вышедший из обихода вопрос. В её мире спрашивали «куда тебя подбросить?» или «вызываешь такси?».

— А-а... Мне на Рэдвуд-стрит, — сказала она, чуть запнувшись.

Брови Адама, густые и тёмные, чуть приподнялись. В его глазах, таких внимательных и глубоких, мелькнуло что-то — не осуждение, не зависть, а скорее осознание. Словно он только что прочёл целую главу её жизни в одном названии улицы.

— Ничего себе райончик, — произнёс он, и в его голосе не было лести, лишь констатация факта. — Статная дама, что и говорить. Не против, если провожу? Мне туда же, только дальше, в самый конец улицы, к новостройкам. Как раз по пути.

Внутри у Квинн что-то ёкнуло — маленький, тревожный сигнал. Было в этом что-то... слишком прямое, слишком настойчивое для первого дня знакомства. Но отказывать без видимой причины казалось глупо, невежливо и как-то по-деревенски трусливо.

— Да тут не особо далеко идти, минут двадцать неспешным шагом, — сказала она, стараясь, чтобы в голосе звучала лишь лёгкая необязательность. — Но ладно. Как хочешь.

Они пошли. Сначала молча, подстраиваясь под ритм шагов друг друга — её лёгких, быстрых, его более размеренных, но чётких. Звук их шагов по идеальному плиточному тротуару был разным: её кеды отбивали чёткий, звонкий стук, его кроссовки — глухой, мягкий шорох. Они шли вдоль широких, ухоженных тротуаров, мимо аккуратных, словно под линейчку подстриженных газонов и таких же аккуратных, дорогих, безликих домов, скрывавших свою жизнь за высокими заборами и тонированными стёклами.

Разговор завязался сам собой — непринуждённый, как течение ручья. О странностях сегодняшнего преподавателя, который путал термины. О сложностях предстоящего мероприятия. О смешном случае на прошлой перемене. Беседа текла легко, поверхностно, но Квинн ловила себя на мысли, что за этой лёгкостью, за его немногословными, но меткими репликами, скрывается какая-то глубина. Глубина опыта, боли или знаний, которую он не спешит показывать, как не показывают шрам под одеждой.

И вот, на тихом перекрёстке, где дорогу перекрывала старая, раскидистая липа, отбрасывающая кружевную тень, он неожиданно сменил тему. Не резко, а плавно, как меняют курс корабля. Голос его стал чуть тише, но не тайным, а задумчивым, каким говорят о чём-то давно обдуманном.

— Кстати, хотел поинтересоваться... Это, конечно, личное, и ты можешь послать меня куда подальше. Эванс — я так понимаю, твой отец ведёт своё дело? Крупное? Я, конечно, не навязываюсь и не собираюсь брать интервью, но очень хочется понять, не ошибся ли я в своих догадках.

Вопрос повис в воздухе между ними, острый и неудобный, как осколок стекла на идеальном асфальте. Квинн почувствовала, как по спине, от копчика до самого затылка, пробежал холодок, мелкой, неприятной дрожью. «И ты слышан...» — пронеслось у неё в голове со скоростью мысли. Она знала, конечно, что шепотки о состоянии отца ходят по университету, как подпольные газетки. Но знала она и другое, главное: настоящий источник благосостояния Эвансов, фундамент, на котором стоял их безупречный мир, никогда не афишировался.

Казино «Золотой Дракон» — пусть и самое респектабельное в городе, с хрустальными люстрами, живой музыкой и дресс-кодом, — всё равно оставалось казино. Нелегальным в корне его деятельность не назовёшь, но тень сомнения, налёт азартного подполья, мира, где ставки — это жизни, а долги пахнут страхом, витал вокруг всегда. Отец, человек старой, жестокой закалки, поднявшийся с самых низов именно в этой кузнице риска, научил её двум вещам: никогда не проигрывать в карты, и она, к его тихой гордости, имела врождённый, почти звериный талант к блефу и расчёту вероятностей, и — никогда, ни при каких обстоятельствах, не болтать лишнего. Последние несколько лет она сознательно, с облегчением, дистанцировалась

от этого мира, погрузившись в учёбу, танцы, жизнь «нормальной», блистательной наследницы. У семьи был и легальный, респектабельный фасад — ботанический сад и цветочный бутик матери, приносящий скромный, но чистый доход и массу эстетического удовольствия. Жить можно было спокойно и красиво. Главное — держать рот на замке.

Вместо ответа она задала встречный вопрос, пытаясь увести разговор, как опытный игрок уводит козырь:

— Ты любишь цветы?

Адам на секунду осекся. Микро-пауза. Но в его тёмных глазах тут же мелькнуло понимание. Он не просто услышал вопрос — он поймал намёк, расшифровал код.

— И цветы люблю, — кивнул он, и в его голосе зазвучала лёгкая, усмешливая нота, будто он оценил её ход. — Да и в карты сыграть, при случае, не против. Азарт — штука заразительная.

Это было уже слишком. Квинн резко остановилась, её подошвы крепко прилипли к тротуару. Она огляделась — тихий, пустынный в этот час переулок, только шорох листьев над головой. Затем развернулась к нему, в упор изучая его лицо, вчитываясь в каждую чёрточку, каждый отблеск в глазах. В её позе, в сцепленных перед собой руках, читалась вся собранность, всё напряжение, вся готовность к обороне.

— Я не знаю, откуда ты взялся. Чем занимался до этого. И зачем, собственно, со мной, с малознакомым человеком, об этом говоришь, — её слова падали чёткими, отточенными фразами, каждая — как отшлифованный камень. — О таком на улице, просто так, не болтают. Вообще.

Адам поднял руки в умиротворяющем жесте, ладонями наружу, но его выражение лица не стало извиняющимся или испуганным. Оно оставалось спокойным, почти отстранённым.

— Прости. Понимаю. Не хотел привлечь ненужного внимания или сделать тебе некомфортно. Просто... любопытно. Слухи ходят. Я умею слушать.

— Я просто прошу тебя, — продолжила Квинн, не слушая его оправданий, её голос стал тише, но от этого только острее, — не говорить об этом никому. Вообще. Лучше даже не заикаться, не намекать. Очень, очень мало людей знают о... причастности моей семьи к некоторым делам. И мне эти проблемы, это внимание, не нужны. Совсем.

Она выпалила это на эмоциях, почти не дыша, стараясь вложить в каждое слово весь вес предупреждения, весь холодный страх, который она с детства усвоила вместе с правилами этикета.

— Да не переживай ты так, — его голос стал спокойным, почти мягким, но в этой мягкости чувствовалась стальная уверенность, непробиваемая, как броня. — Мне самому не выгодно разбрасываться такими словами. Я не из тех, кто сеет слухи. Я ценю... осторожность. Умею её ценить.

— Кстати, о выгоде, — парировала Квинн, и её тон стал холоднее, острее. Она вспомнила отцовский урок, вбитый в неё с подросткового возраста: лучшая защита — нападение. — Если тебя интересует конкретно дело моего отца, его связи, его возможности... то нам, пожалуй, не по пути. Мы знакомы один день. Оборвать с тобой связь — раз плюнуть. — Она сделала крошечную, но выразительную паузу, глядя ему прямо в глаза, стараясь пронзить его этой уверенностью. — Ну, или я могу попросить, чтобы тебя... ну, ты понял. Отчислили. За неуместное любопытство и создание нездоровой атмосферы.

Она ждала реакции — испуга, злости, немедленных оправданий. Но Адам лишь медленно выдохнул, и в его выдохе была не злоба, а усталость. В его взгляде не было страха. Была та самая усталость и что-то ещё, похожее на уважение к её прямоте, к этой внезапной, жёсткой обороне.

— Не надо никого отчислять, — сказал он тихо, но твёрдо. — Я просто спросил. Имеешь ли ты отношение. Ты ответила — без слов, но ясно. Дела отца касаются только отца. Я понял. Точка.

Он отступил на шаг, физически разрывая то напряжённое пространство, что сгустилось между ними. Затем, неожиданно, спустился на корточки у самого края тротуара. Между серыми плитами, в трещине, заполненной пылью и упрямой жизнью, пробивалась маленькая, но отчаянно белая ромашка. Аккуратным, бережным движением он сорвал её, не повредив хрупкий стебелёк.

— Всё-таки, — сказал он, поднимаясь и протягивая ей цветок, — мне больше нравится разговаривать про них. Про цветы. Они проще.

На его лице появилась искренняя, чуть виноватая улыбка. Это был жест не подхалима, не романтического ухажёра, а человека, который пытается сгладить неловкость самой простой, человеческой, невинной вещью.

— Цветы, — продолжил он, всё ещё держа ромашку на ладони, будто предлагая нежный дар, — они делают природу... и девушек... красивее и ярче. Без всяких сложностей. Без долгов, без процентов, без лишних вопросов.

Квинн смотрела то на цветок, такой хрупкий и совершенный на его шершавой ладони, то на его лицо, с которого теперь сошла вся настороженность, осталась лишь эта странная, открытая уязвимость. Напряжение внутри начало таять, сменяясь странной, противоречивой смесью облегчения и ещё более жгучего любопытства. Она взяла ромашку. Лепестки были нежными, бархатистыми и чуть влажными от вечерней росы, уже выпавшей в тени.

— Спасибо, — сказала она, и в её голосе снова появились привычные нотки лёгкости, хотя и с лёгкой, теперь уже постоянной примесью осторожности. — Вы очень... галантны, мистер Смит. Неожиданно.

Он рассмеялся, и это был настоящий, непринуждённый смех, который на миг стёр с его лица все следы усталости и той внутренней тяжести, что он нёс. Напряжение рассеялось, как туман под утренним солнцем. Они снова пошли, и разговор потек прежним, лёгким руслом, будто этого странного, опасного обострения и не было. Но почва под ногами уже была иной.

— Ты знаешь, я думал, что в группе меня не воспримут, — признался Адам через несколько минут молчания, когда они уже миновали самый пафосный квартал. — Слишком уж я... другой. С другого берега.

— Да ладно, не забивай голову, — махнула рукой Квинн, и в её жесте была уже не снисходительность, а почти дружеское участие. — Мы ребята в целом дружелюбные. Так, конечно, не про всех можно сказать... найдутся и свои снобы. Но про большинство в Активе — точно. Туда приходят те, кому важно не только корочку получить, а что-то создать, почувствовать.

— Мне сказочно повезло, — сказал он, и в его словах прозвучала неподдельная, почти детская искренность. — Случайно оказаться среди таких людей. Попасть в такую... стаю.

— Как так вышло, что ты перевёлся? Да ещё в конце четвёртого курса? — спросила Квинн, наконец задав вопрос, который вертелся у неё на языке с самого утра, с той минуты, как он вошёл в аудиторию.

Адам на секунду задумался, подбирая слова, взгляд его ушёл куда-то вдаль, в сгущающиеся сумерки.

— Ну... я до пятого курса числился в другом университете. На самой окраине. Технический. Но не было возможности там закончить. Финансовой. И... других. Сейчас мы с мамой переехали сюда, по семейным обстоятельствам. Пришлось переводиться, даже с потерей года. Это было... очень сложно организовать. Документы, договорённости, взятки, чтобы хоть как-то пролезть в это ваше царство разума и денег. Вот так и получилось.

В его голосе не было жалости к себе, только констатация фактов, сухих и жёстких, как камни. Но за ними, как чувствовала Квинн, стояла целая история борьбы, унижений, отчаяния и той самой упрямой воли, которую она сейчас в нём наблюдала.

— Получается, ты старше на год? — удивилась она, и в её удивлении был неподдельный интерес. — И, значит, можешь помочь с сессией? Некоторые предметы, наверное, пересекаются?

На его лице появилась та самая, ехидная, чуть вызывающая ухмылка, которая уже начала становиться знакомой.

— Ну да, что-то помню. Формулы, теоремы... пылятся на полках памяти. Ты меня в танцевальный номер возьми, тогда и подумаю, как помочь. Честный обмен.

Квинн не смогла сдержать улыбки. Искренней, широкой.

— Хорошо, — сказала она, играя с тонким стеблем ромашки, ощущая его упругость. — Я подумаю над вашим предложением. Взятки у нас не в ходу, но талант ценится. И умение договариваться — тоже.

Они уже подходили к Рэдвуд-стрит. Атмосфера вокруг менялась. Дома здесь становились не просто большими, а основательными, крепостями из стекла и бетона, скрывавшимися за высокими, иногда коваными, иногда монолитными заборами и буйной, искусно подстриженной зеленью. Воздух был тише, чище, пахло скошенной травой и дорогими духами из открытого где-то окна. Квинн остановилась у кованых ворот с витиеватым узором, где почти незаметно, в тени плюща, была табличка «Эванс».

— Вот, мне сюда. Спасибо за компанию.

Она обернулась к нему и, к собственному удивлению, не просто кивнула на прощание, а протянула руку для рукопожатия — жест деловой, чопорный, но в данном контексте, после личного разговора и подаренного цветка, казавшийся почти трогательным, смешным и искренним одновременно. Несмотря на всю её внешнюю холодность, умение ставить на место и надежные как доспехи манеры, в этой девушке было какое-то неуловимое очарование — смесь силы, уязвимости, ума и той самой, спрятанной глубоко, жажды настоящего. И Адам, похоже, чувствовал это не меньше её.

Он принял её руку. Его ладонь была тёплой, сухой и шершавой — не от грязи, а от работы, или от чего-то ещё, что оставляет на коже несмываемый отпечаток труда и борьбы. Его пальцы слегка сжали её ладонь на долю секунды дольше необходимого для формального рукопожатия.

— Надеюсь, это не последняя прогулка, — сказал он, и в его низком голосе звучала не настойчивость, а тихая уверенность. — Всегда буду рад составить компанию. Куда угодно.

— Обязательно пройдемся ещё раз, — улыбнулась она в ответ, ощущая странное, тёплое покалывание, разливающееся от точки соприкосновения по всей руке.

— Можно и не раз, — парировал он, и в его глазах, тёмных и теперь совсем близких, вспыхнула та самая уверенность, смешанная с открытым, дерзким вызовом, которая заставила её сердце на мгновение забиться чаще, сбросив привычный, размеренный ритм.

Она мягко высвободила руку, ещё раз коротко кивнула и, развернувшись, направилась к дому — современному, минималистичному, с панорамными окнами, в которых горели последние отблески заката, окрашивая интерьер в багрянец и золото. Она не оборачивалась, но чувствовала его взгляд на своей спине. Он пронизывал тонкую ткань её платья, был тяжёлым и тёплым.

Адам же стоял у ворот ещё несколько минут, неподвижно, как страж. Он наблюдал, как она скрывается за массивной, бесшумно закрывающейся дверью. Затем его взгляд медленно обвёл фасад дома, его безупречные линии, дорогой чёрный автомобиль, стоящий на приватном подъезде, безукоризненный, изумрудный газон, будто сошедший с картинки. Его лицо, только что озарённое улыбкой, стало задумчивым, все живые эмоции с него словно стёрлись, сменившись холодной, расчётливой сосредоточенностью. Он что-то

взвешивал в уме, оценивал, решал сложную задачу с множеством переменных. Его глаза, сузившись, стали похожи на щели. Потом он резко повернулся на каблуке, без сожаления, и зашагал прочь быстрым, решительным шагом. Его фигура быстро растворялась в сгущающихся вечерних сумерках, но направлялась он отнюдь не к обещанным новостройкам в конце Рэдвуд-стрит. Он свернул в первый же переулок и зашагал в сторону совсем других районов Лэнгборука — тех, где свет фонарей был тускл и оранжев, а тени глубоки и полны невысказанных историй.

Дом Адама встречал его не светом хрустальных люстр, а другим светом — скудным, желтоватым, исходящим от старой советской лампы под абажуром с кистями, который мама не решалась выбросить. Он пах не ванильным диффузором, а сложной, родной симфонией запахов: воска для пола, тмина из чугунок с тушеной капустой и тончайшей, пьянящей нитью свежееиспеченных круассанов. Не покупных, а тех самых, из слоеного теста, которые мама раскатывала в полночь на кухонном столе, сбрасывая усталость с плеч вместе с мукой. Этот запах был его детством, его крепостью и его тихой болью — напоминанием о том, что их жизнь когда-то пахла иначе, слаще, без горького послевкусия долгов.

Мама Адама застыла в дверном проеме, прислушиваясь к шагам на лестнице, и когда он вошел, ее лицо преобразилось. Все морщинки — у глаз, у губ, проведенные годами за столом в пекарне, а потом ночными сменами швеи, — распрямились, уступив место сиянию. Сиянию, в котором не было ни капли искусственности, только чистая, животрепещущая радость.

— Адам! Солнышко ты мое! — голос ее, обычно уставший, звенел, как колокольчик. Она не стала ждать, пока он разуется, а бросилась к нему, обвивая тонкими, но на удивление сильными руками. Халат ее пах стиральным порошком и теплом ее тела. — Что это так поздно? У вас там, в этих ваших храмах науки, сутки напролет? Все нормально? Не приставали? Не обидели?

Он уткнулся лицом в ее плечо, позволив на миг раствориться в этом простом, безоговорочном приюте. Здесь он был не новичком с подбитым глазом, не расчетливым игроком, высматривающим шанс. Он был просто сыном.

— Все в порядке, мам, — его голос, сбросив вуаль университетской сдержанности, стал мягким, почти мальчишеским. — Больше чем в порядке. Влился, можно сказать, в ряды... благотворительно-предпринимательского сообщества. Появился реальный шанс подзаработать. Не на разгрузке вагонов.

— Выиграл что? Конкурс? — глаза ее вспыхнули надеждой, хрупкой и яркой, как первый ледок на весенней луже. Она тут же поймала себя на слове «выиграл» и поправилась, но искра в глазах не погасла. — То есть... участвовать будешь? Ой, да ну, иди, иди на кухню, там чайник вот-вот засвистит. Все расскажешь.

Их кухня была крошечной вселенной, выстроенной вокруг старой газовой плиты и стола, застеленного клеенкой с розами. Все здесь было скромно, но безупречно, почти свяшенно чисто. Каждая чашка стояла на своем месте, пол блестел, на окне в баночке из-под майонеза цвела герань. Это был порядок, державшийся не на деньгах, а на воле, любви и отчаянном желании сохранить достоинство. Они усадились друг напротив друга. И Адам

начал рассказывать. Искренне. Про огромные, ледяные от кондиционеров коридоры. Про ребят — Вильяма с его пафосом, Джун с ее искренностью, Джонсона с хитрющей ухмылкой. Про Сэма, чей взгляд казался рентгеновским. Про команду, эту кипящую котлету идей и амбиций, готовящую грандиозное мероприятие. Между ними практически не было секретов. Почти. Один, самый тяжелый, самый острый, он носил в себе, как пулю, застрявшую у сердца. Пока молчал.

— В общем, решил старые навыки встряхнуть, — усмехнулся он, отламывая хрустящий кончик круассана. Золотистые крошки упали на клеенку. — На мероприятии будут танцы. Вспомню, как в детстве всех очаровывал.

— Умничка ты мой, — она положила свою руку поверх его. Ладонь была шершавой от деталей и чистящих средств, но прикосновение было невесомым. — Я чувствую, что проклевывается наше счастье. По капельке. Вот рассчитаемся с этими... — она запнулась, не желая произносить слово вслух, будто оно могло материализоваться, — ...с этими обязательствами, и вздохнем полной грудью. Как люди.

Слово «обязательства», мягкий эвфемизм для слова «долги», повисло в воздухе тяжелым, влажным полотном. Оно затушило радость в ее глазах, сменив ее усталой, выученной наизусть тревогой. Адам замолчал. Он смотрел, как тает кусочек масла на теплом круассане. Впервые в жизни он отчаянно не хотел делиться с ней главным. Не хотел, чтобы эта тень страха, уже легшая на ее лицо, стала чернее, гуще из-за его планов. Но солгать молчанием, позволить ей надеяться на чудо без риска, было бы предательством.

— Мам, — начал он, и его голос стал тише, осторожным, как шаги по тонкому льду. — Я тебе про всех вроде рассказал. Но там... есть одна девушка.

Ее лицо ожило мгновенно. В глазах, помимо материнской любви, вспыхнуло живое, почти девичье любопытство.

— Да? Ну, наконец-то! А я уж думала, ты в монахи собрался. Красивая? Добрая?

— Она... другая. Квинн. Квинн Эванс.

Реакция была мгновенной и физической. Словно невидимый мороз прошелся по кухне. Весь свет, вся теплота сбежали с ее лица, оставив после себя бледность и быстро сменяющие друг друга эмоции: мгновенное узнавание, за ним — глубокий, животный испуг, затем — судорожная попытка взять себя в руки и наконец — беспомощная, тоскливая тревога. Ее пальцы непроизвольно сжали край халата.

— Адам... — она произнесла его имя не как ласковое «Адамчик», а с тяжелым ударением, полным предостережения, выстраданного годами жизни в этом городе, знающего его подноготную. — Сынок, я бы... я бы на твоём месте держалась от нее подальше. И от всей ее семьи. Это... другой мир. Там не наши законы. Там не наша правда.

— Мам, я знаю, кто они, — Адам наклонился вперед, его взгляд стал упрямым, горящим изнутри. — Она сама говорит, что к делам отца не имеет отношения. Но через нее... может, можно что-то узнать, понять, как подступиться... Может, не все так беспросветно.

— Нет. — Это было не просто слово. Это был выдох отчаяния, превращенный в приказ. Ее голос, всегда такой мягкий, зазвучал с неожиданной, хрупкой твердостью. — Я тебя ни о чем никогда не просила. Но сейчас — прошу. Не лезь туда. Мы выкарабкаемся как-нибудь. Через эти твои конкурсы, через мою работу... Мы расплатимся честно и навсегда захлопнем эту дверь. Забудем. Забудем и про «Золотого Дракона», и про эти проценты, и про Эвансов. И будем жить спокойно. Посмотри на себя! — ее голос сорвался, и она, задрожавшей рукой, едва не коснулась темно-синего, переходящего в желтизну синяка под его глазом. — Мало тебе этого? Хочешь, чтобы было хуже? Чтобы пришли не те, кто бьет, а те, кто... — она не договорила, сжав губы в белую ниточку.

Она встала, подошла и, по-матерински, с бесконечной, горькой нежностью, погладила его по голове. Ее пальцы запутались в его темных волосах. Этот жест, знакомый с пеленок, был одновременно абсолютным утешением и смертным приговором. Приговором той простой, безопасной, серой жизни, о которой она мечтала для него и которой, он уже понимал, не будет никогда.

Адам сидел под ее ладонью, а внутри него бушевал тихий, сокрушительный шторм. Его план, холодный и дерзкий, в котором Квинн была одновременно ключом, щитом и мишенью, теперь казался чудовищной авантюрой. Играть в эту игру, подвергая риску эту женщину, смотрящую на него глазами, полными слез... Но и отступить означало сдаться. Позволить долгам, как термитам, сожрать остатки ее покоя, ее здоровья, их будущего. Его лицо было каменной маской.

— Хорошо, мам, — сказал он гладко, автоматически, словно заученную в детстве молитву. — Я запомню.

Он сделал паузу, чтобы разбавить ложь крупницей правды — той, что не причиняла боли.

— Надеюсь, если повезет на том мероприятии, выиграю хоть что-то. Часть самого страшного покромлю. Снимем часть камня с души.

Он поднялся и обнял ее. Крепко, по-мужски, полностью заключив ее маленькую, легкую фигурку в свои объятия. В этом объятии была и клятва защитить, и немое извинение за ту ложь, что уже жила в его сердце, и обещание, которое, возможно, окажется ему не по силам. Слова «все будет хорошо» застыли невысказанными где-то в горле, но они витали в воздухе, почти осязаемые.

— Верю, сынок, — прошептала она ему в грудь, спрятав лицо. Голос ее был глухим, полным слез. — Только бы все хорошо...

Адам мягко отстранился. На мгновение его руки крепко сжали ее плечи — жест, полный скрытой силы, решимости и немой мольбы о прощении. Взгляд, которым он окинул ее, был наполнен такой бездонной, мучительной любовью и болью, что ее сердце сжалось в ледяной комок. Он молча убрал свою тарелку и чашку, вымыл их под струей воды, вытер начисто — ритуал, отточенный годами. И скрылся за дверью своей комнаты, тихо щелкнув замком.

Мать осталась стоять посреди крошечной кухни, вдруг ставшей огромной и пустой. Она бессознательно обхватила себя руками, будто замерзая. Ее взгляд был прикован к той двери, за которой ее мальчик, ее Адам, уже перестал быть просто ее сыном. Он стал человеком, принимающим взрослые, опасные решения. Она знала. Не умом — нутром, каждой материнской клеточкой. Он не слушал. Он выбрал свою тропу, ведущую не в

светлую даль, а в густой, непроглядный туман той самой «мути», от которой она молила его бежать. Ее душа выла от страха и бессилия. Но сквозь этот страх, как упрямый росток сквозь асфальт, пробивалась тонкая, негибкая нить веры. Вера в его острый ум, в его внутренний стержень, в то доброе и честное, что она в него вложила. Она верила в него. Даже когда боялась до тошноты. Она обращалась в никуда — не к Богу, в которого давно разуверилась, а просто в космическую пустоту — с одной мольбой: чтобы будущее, которое он теперь ковал своими руками, оказалось к нему милосерднее, чем прошлое, которое они вместе пытались оставить позади. Тишина в квартире стала густой, как смола, в ней звенел лишь далекий гул города — того самого города, который теперь ждал от ее сына новой, опасной партии.

Она не сдвинулась с места, все еще глядя на дверь, за которой воцарилась тишина — не сонная, а сосредоточенная, напряженная. И в этой тишине она видела его — не того мальчика, что сейчас скрылся за дощатой створкой, а того мужчину, что только что сидел перед ней.

Она видела, как в резком повороте его головы, когда он говорил о «подступиться», проступил оскал его отца — ранний, яростный, каким он был, когда в одиночку вытягивал их из первой, казалось бы, бездонной ямы. Та же упрямая складка у рта, тот же огонь в глубине глаз, который сжигал сомнения дотла.

Она видела, как в том крепком, почти болезненном пожатии плеч, когда он обнимал ее на прощание, проснулась отцовская стать — не сутулая, сломленная, а прямая, готовая принять на себя тяжесть неба, если понадобится. В этих широких, уже мужских плечах угадывался контур того человека, которому она всегда верила.

И больше всего — она видела его глаза. В тот самый миг, перед тем как он отвернулся. Они были полны такой бездонной, мучительной любви и боли, но в них не было ни тени детского страха или растерянности. В них была ясность. Тяжелая, как свинец, выстраданная, но — ясность. Он не просто хотел утешить ее. Он все уже решил. И в этом решении, в этой тихой, непоколебимой решимости, сквозила та самая, давно утраченная отцовская сила — сила не кулака, а воли. Сила того, кто берет ответственность, даже если путь заведет во тьму.

Она видела, как в нем, ее мальчике, растут и крепнут эти черты. Не те, что губили, а те, что спасали. И в этом росте было столько горькой гордости, что перехватывало дыхание. Ее душа рвалась на части: материнский ужас кричал, чтобы он остановился, а какая-то иная, более глубинная часть узнавала и смирялась. Он был ее сыном, но теперь он был и наследником этой битвы, которую они с отцом когда-то проиграли. И он шел ее заканчивать. Своим путем.

Она медленно опустила руки. Смахнула непрошеную слезу, не смачивающую, а обжигающую щеку. На столе лежали крошки от его круассана. Она аккуратно смахнула их на ладонь и выбросила в мусорное ведро. Ритуал порядка. Единственное, что оставалось в ее власти.

Потом подошла к его двери. Не чтобы открыть. Просто приложила ладонь к прохладному дереву, как когда-то прикладывала ко лбу спящего ребенка, проверяя жар.

Глава 2

— Мальчик мой, — прошептала она так тихо, что это было лишь движением губ, шелестом собственной души. — Ты знаешь, что делать.

Это была не просьба. Не вопрос. Это было признание. Признание его права на этот выбор. Его мужества. Его взросления. Это было благословение, выстраданное страхом и выкованное верой. Благословение не на месть, а на его борьбу. На его игру.

Она оторвала ладонь от двери и потушила свет на кухне. В темноте ее лицо, обрамленное сединой, казалось изваянием из печали и надежды. Она слышала за дверью тихий скрип его стула. Он не спал. Он планировал. Ее мальчик. Теперь — его мужчина. И она, стиснув зубы до боли, доверяла ему свою веру. Ибо больше ей доверять было нечего.

Прошедшая неделя перед кастингом стала для Адама временем стремительной и неожиданной интеграции. Он, привыкший держаться обособленно, вдруг оказался втянут в водоворот жизни «стаи». И к его собственному удивлению, это не вызвало отторжения.

Он начинал дни с того, что заходил за Джун, жившей по пути к университету. Сначала она стеснялась своего скромного домика, но Адам, помогая ей нести сумки с книгами, лишь восхищённо посвистывал, глядя на аккуратный садик её матери. «У вас тут свой оазис», — говорил он, и Джун расцветала от такого простого, искреннего признания. В автобусе они обсуждали учебники, и Адам, оказывалось, мог объяснить сложную экономическую модель на примере цены на хлеб в соседней булочной — просто, ясно, без заумности. Джун ловила себя на мысли, что с ним было легко, как со старым другом.

На парях его теперь сажали в свою «кампанию». Вильям, изначально воспринимавший его как экзотический проект, быстро оценил его острый, сухой юмор. Адам парировал его напыщенные замечания такими меткими, но не обидными репликами, что Вильям вскоре стал ждать его ответов с хищной ухмылкой. Однажды, когда преподаватель засыпал их сложной задачей, Адам, не глядя в конспекты, набросал на салфетке гениально простое решение. Джонсон, увидев это, медленно свистнул. «Ты, дружище, тёмная лошадка. Откуда такие познания?» Адам лишь пожал плечами: «Приходилось считать быстрее, чем думать». Эта фраза, сказанная без тени жалости к себе, лишь добавила ему очков в их глазах.

Они вместе ходили в столовую. Адам ел скромно, но без смущения, и когда Вильям попытался подшутить над его выбором, Адам спокойно заметил: «Когда таскаешь мешки, калории важнее трюфелей». Шутка пришлась по вкусу, и с тех пор они иногда звали его «грузчиком», но в этом прозвище звучало уже не снисхождение, а братская фамильярность.

После пар они могли засесть в библиотеке, и Адам, к всеобщему удивлению, оказался блестящим «мозговым штурмером» для проектов «Актива». Он предлагал неожиданные, приземлённо-практичные ходы, о которых не думали выходцы из мира чистых теорий. «Рекламу вечера можно раздавать не только здесь, но и в приличных кофейнях у бизнес-центров — там наши будущие спонсоры пьют эспresso», — говорил он, и Сэм, руководитель, задумчиво потирал подбородок.

Вечерами он иногда оставался с ребятами в спортзале. Вильям, помешанный на фитнесе, сначала снисходительно показывал ему тренажёры, но вскоре с удивлением обнаружил, что Адам обладает феноменальной силой хвата и выносливостью, которая не идёт ни в какое сравнение с его накачанными, но «салонными» мышцами. «Где ты так набил руку?» — спросил как-то Джонсон, глядя на его шершавые ладони со старыми, едва заметными шрамами. «Работал с металлом», — коротко ответил Адам, и тема была закрыта. Они научились не давить, чувствуя невидимую границу.

Квинн наблюдала за этим сближением со смешанными чувствами. Она видела, как её друзья, обычно избирательные и немного снобистые, приняли Адама как своего. Он не подли-

зывался, не пытался им понравиться — он просто был собой: немногословным, надёжным, с странной, притягательной аурой человека, который знает цену вещам. Он стал для них «своим парнем с той стороны», который привнёс в их жизнь струю свежего, немного грубоватого воздуха.

И это раздражало её. Потому что за этой простотой, за этой лёгкостью, с которой он вписался, скрывалось то, что она видела в его глазах у её ворот. Та самая тень, та самая цель. Он был слишком идеален в своей новой роли. И это заставляло её внутренне напрягаться каждый раз, когда он ловил её на себе взгляд — всё тот же пронизательный, изучающий, словно он видел не её безупречный фасад, а те трещинки сомнения, что она тщательно скрывала ото всех, включая себя.

И вот настал день кастинга. Зал, залитый резким светом софитов, был её судом. Квинн, облачённая в чёрное, была беспристрастным божеством. Отсеивала претендентов. Сэм и Джонсон сидели рядом, обмениваясь редкими репликами, но в их позах чувствовалось ожидание. Они знали, на что способен их новый «грузчик».

Когда очередь, казалось, подошла к концу, дверь в конце зала не открылась — её отодвинул. Вошёл Адам.

Он был в простой спортивной форме, но на нём она сидела так, что обрисовывала каждую мышцу не для показухи, а для дела. Синяк под глазом стал бледным, почти призрачным пятном. Он вошёл не один — за его спиной маячили фигуры Вильяма и Джун, которые встали у двери, будто группа поддержки. Джун ободряюще подмигнула, Вильям сделал жест «давай, покажи им».

Адам кивнул им, коротко и почти нежно — жест, которого Квинн у него ещё не видела. Потом его взгляд упал на неё. И снова стал тем самым — острым, лишённым всей недельной фамильярности.

«Не опоздал?» — спросил он, и в его голосе была знакомая всем им лёгкая, усмешливая нота.

«Припозднился, Смит, — отозвался Джонсон с места. — Мы уж думали, ты струсил».

«Со „своими“ не принято трусить», — парировал Адам, не отводя глаз от Квинн. «Я пришёл за обещанием. Соло. Чтобы не было стыдно перед ребятами».

Квинн медленно скрестила руки, чувствуя, как подходит комок к горлу от этой их братской спайки. «Три минуты. Музыка — твоя. Удиви не только меня. Удиви всех».

Он направился к пульту. Вильям крикнул: «Только без своего тяжёлого металла, а то люстры попадаем!» Адам лишь махнул рукой, не оборачиваясь.

Он выбрал трек. Музыка, которая полилась, была неожиданной. Это был мощный, драйвовый электро-трек, но не агрессивный, а полный полёта и почти космической меланхолии. Он начинался с пульсирующего синтезатора, который постепенно обрастал сложными перкуссионными петлями и пронзительной мелодией.

Адам встал в центр зала, закрыл глаза, сделав глубокий вдох. И когда ритм пошёл на взлёт, он начал.

Это был не тот дикий, яростный танец, который она подсознательно ожидала. Это было нечто иное — технически безупречное, невероятно пластичное, но при этом наполненное такой глубинной, сдержанной эмоцией, что мурашки побежали по коже. Его движения были стремительными, точными, полными не силы, а контролируемой энергии. Он использовал всё пространство, его прыжки были высокими и лёгкими, вращения — неистовыми, но завершались идеальной фиксацией. В его танце читались годы дисциплины, но не в зале, а где-то ещё — на пустыре, в полутемном подвале, где единственным зрителем была собственная тень на стене. Это было красиво. По-настоящему, опасно красиво.

Он вплетал в танец элементы, которые видел на репетициях на этой неделе, но переосмыслил их, делая грубее, мужественнее, добавляя свою уникальную резкую пластику. Это был не просто кастинг. Это был его ответ. Его презентация себя не как новичка, а как равного.

Квинн не могла оторвать глаз. Она видела, как Джун замерла с открытым ртом, как Вильям перестал ухмыляться, а его лицо стало сосредоточенным, как у спортсмена, оценивающего соперника. Даже Джонсон затих.

Когда музыка вышла на финальный, мощный аккорд, Адам совершил головокружительную серию движений, закончив её падением на одно колено, с опущенной головой и вытянутой назад рукой — позой не поражения, а преклонения перед самим актом танца.

Тишина. Потом Джун не выдержала и тихо, но отчётливо похлопала. Её хлопки были одиноки в тишине, но они разбудили остальных. Вильям присвистнул. Джонсон зааплодировал, вставая.

Адам поднялся. Он тяжело дышал, капли пота скатывались по вискам. Он обвёл взглядом друзей у двери, и на его губах мелькнула короткая, сбивчивая улыбка. Потом он посмотрел на Квинн.

Она стояла неподвижно. Всё её тело было струной. Внутри бушевала буря — восхищение, ревность к той легкости, с которой он завоевал её друзей, и жгучее, непреодолимое любопытство. Кто ты? Кто ты на самом деле?

Она сделала шаг вперёд, и звук её шага заставил всех замолчать.

«Ожидаемо сыро», — начала она, и её голос звучал холодно, профессионально. «Техника... не академическая. Слишком много лишней агрессии в пластике».

Она видела, как улыбка сходит с его лица. Видела, как друзья насторожились. Она подошла к нему так близко, что могла видеть мельчайшие брызги пота на его ресницах.

«Именно поэтому, — сказала она уже тише, но так, чтобы слышали все в натянутой тишине зала, — именно поэтому у тебя есть то, чего не хватает всем остальным. Живую кровь. Грязь под ногтями от реальности. Поздравляю, Адам».

Она повернулась к остальным, повышая голос до командирского.

«Смит проходит. И он будет танцевать не в массовке. Он будет в ключевом дуэте».

Она обернулась к нему, и в её глазах, наконец-то, вспыхнул тот самый огонь, который он, казалось, ждал.

«Со мной. Готовься. Начинаем завтра».

И, добавив уже шёпотом, который был слышен только ему:

«Покажи мне, на что ты действительно способен».

Слова Квинн — «Со мной» — вырвались не холодным вердиктом, а срывом. Она сама не ожидала, что произнесёт их с таким жаром, с каким-то внутренним ликованием, которое прорвало плотину её профессиональной сдержанности. Эти два слова повисли в натянутой тишине, и на долю секунды в зале не было слышно даже дыхания.

Адам стоял, опустив голову, его плечи тяжело вздымались. Он казался сломленным, будто уже готовым принять отказ. И эта его уязвимость в конце такого мощного танца тронула Квинн до глубины души.

Тишину разорвал не крик, а счастливый визг. Джун вскочила со стула, как будто её ударило током. «Да-да-да-да! Ура!» — она захлопала в ладоши, и её хлопки были громкими, звонкими, как выстрелы праздничного салюта. Она подпрыгивала на месте, и её каштановые хвостики разлетались в стороны.

Этот звук словно разбудил остальных. Вильям, сидевший до этого с каменным лицом, внезапно расплылся в широкой, почти дурацкой улыбке. Он не пошёл — он взорвался с места. Его массивная фигура ринулась через зал, он обошёл стулья, не замедляясь, и с разбегу врезался в Адама. Это было не просто объятие — это был таран радости.

«А-а-а! Да ты гений! Ты грязный, неотёсанный, потный гений!» — ревел Вильям, трясая Адама за плечи так, что у того голова болталась. Адам сначала замер в этом медвежьем захвате, а потом из его груди вырвался звук — не смех, а что-то вроде растерянного, счастливого кряхтения. Он неуверенно похлопал Вильяма по широкой спине, и постепенно его собственные руки сомкнулись в ответных объятиях — сначала робко, а потом всё крепче. Он уткнулся лицом в плечо друга, и его спина, бывшая тетивой секунду назад, наконец расслабилась.

И тут Квинн почувствовала, как что-то щёлкнуло у неё внутри. Это был не просто выбор лучшего танцора. Это была победа их команды. Её команды. Она видела, как её друзья — её братство, её маленький неприкасаемый мирок — раскрывается и принимает в себя этого странного, колючего парня из другого мира. И в этом не было угрозы. Была какая-то правильность. Полнота. Сердце её бешено заколотилось от внезапного прилива чистой,

детской радости. Она не сдержала улыбки. Широкая, открытая, некрасивая от счастья улыбка растянула её губы. Она засмеялась — звонко, беззаботно, забыв о том, как это «неприлично» для будущего руководителя.

«Вильям, отпусти его, он сейчас кости соберёт по залу!» — крикнула она, но в голосе её не было команды, а был тот же смех.

Сама она подошла к Джун и обняла подругу за плечи. Джун тут же прильнула к ней, всё ещё трясась от восторга. «Квинн, ты видела? Ты видела его вращение в конце? Это было... космически!»

«Видела, — прошептала Квинн ей в ухо, глядя поверх её головы на сцену мужского бра-
танья. — Он идеально дополнит... нас всех».

Даже Джонсон, вставая, издал своё фирменное «хм-м» — звук, означавший высшую степень одобрения. Он подошёл, дождался, пока Вильям немного отпустит свою жертву, и протянул Адаму руку. «Что ж, Смит, — сказал он с деловой серьёзностью, в которой, однако, проглядывало уважение. — Ты официально вносишь хаос в наши ряды. Добро пожаловать в хаос». Их рукопожатие было крепким, мужским, и Адам, всё ещё слегка оглушённый, кивнул, пытаясь собраться с мыслями.

И вот Адам, наконец, высвободился. Его лицо было красным от напряжения, пота и смущения, но глаза... его глаза сияли. Это был не тот острый, сканирующий блеск, что она знала. Это был чистый, почти мальчишеский восторг. Он обвёл взглядом всех — Вильяма, хлопавшего его по спине, Джун, прыгавшую рядом с Квинн, Джонсона с его ухмылкой. И его взгляд на секунду задержался на Сэме, который сидел с невозмутимой улыбкой и одобрительно кивал. Адам глубоко вздохнул, будто впервые за долгое время впуская в лёгкие воздух, не отравленный страхом или расчётом.

Потом он посмотрел на Квинн.

Она стояла, всё ещё обняв Джун, и улыбка не сходила с её лица. Их взгляды встретились. В его глазах не было больше ни вызова, ни той тяжёлой тайны. Была лишь бездонная, немой благодарность. Он медленно, почти торжественно, кивнул ей. Словно говорил: «Ты сделала это. Ты поверила». И она, не отводя глаз, кивнула в ответ. Это был не кивок руководителя подчинённому. Это был кивок партнёра партнёру. Соучастника в этом маленьком чуде.

Адам сделал шаг вперёд, обходя стулья. Он подошёл к Квинн, и Джун, хихикнув, отскочила в сторону, давая им пространство. Он остановился в шаге от неё, и она увидела мельчайшие детали: капли пота на его ресницах, делающие их тёмными и тяжёлыми, мелкие царапины на скуле, которые она раньше не замечала, лёгкую дрожь в руках от адреналина.

«Спасибо, Квинн, — сказал он, и его голос, обычно низкий и ровный, срывался, был хриплым от эмоций. — Я... я не знаю, что сказать. Ты дала шанс. Ты... увидела. Всё».

И прежде чем она смогла вымолвить что-то вроде «не за что» или «ты это заслужил», он шагнул вперёд и обнял её.

Это объятие было другим. Не тем стремительным, братским захватом, что был с Вильямом. Оно было... бережным. Сильным, но не давящим. Он притянул её к себе, и она почувствовала всю грубую фактуру его промокшей майки, тепло его кожи сквозь неё, бешеный стук его сердца, который отдавался и в её груди. Его одна рука легла ей на лопатку, другая — чуть ниже талии, поддерживая. Он прижал щеку к её виску, и его дыхание, тёплое и влажное, обожгло её кожу. Он не тряс её, не хлопал по спине. Он просто держал. И в этой молчаливой крепости его объятия было столько благодарности и доверия, что у неё перехватило дыхание.

Она замерла на секунду, застигнутая врасплох. А потом её собственные руки, будто действуя сами по себе, поднялись и обняли его в ответ. Её ладони легли на его спину, на влажную, горячую ткань, под которой играли мышцы. Она прижалась к нему, закрыла глаза и позволила себе на миг раствориться в этом простом, человеческом, потном и настоящем моменте общей победы. Никаких миров, никаких тайн. Только двое людей, разделяющих радость от того, что что-то получилось. По-настоящему.

«Ты был великолепен, — прошептала она ему на ухо, чувствуя, как её губы касаются его мокрых волос. — Просто невероятен».

Он лишь сильнее сжал её на долю секунды, и это сжатие было красноречивее любых слов.

Когда они наконец разъединились, в зале воцарилась тёплая, немного смущённая тишина. Все улыбались. Даже Сэм поднял бровь, что у него было равносильно бурным овациям.

«Так, — сказал Вильям, снова возвращая атмосферу к реальности. — Всё, всё, все в „Бункер“! Я заказываю три пиццы „Пепперони“ и не обсуждается! Наш новобранец должен пройти обряд посвящения едой!»

Адам, всё ещё глядя на Квинн, обернулся к друзьям.

«Вы идите, захватывайте лучшее место. Я... мне нужно с Квинн кое-что обсудить по поводу завтра. Без этого не могу праздновать», — сказал он, и в его голосе снова появились твёрдые, деловые нотки, но теперь они звучали по-другому. Увереннее. Как у своего.

Когда зал опустел и они остались одни среди разбросанных стульев и брошенных бутылок с водой, Адам подошёл к столу, где лежали её вещи. Он не сел, а стоял, опершись ладонями о столешницу, будто всё ещё нуждался в опоре.

«Слушай, Квинн, — начал он, и теперь он смотрел на неё не как на недостижимую принцессу из другого мира, а как на союзника. — У меня в голове, пока я танцевал, родилась... идея. Для нашего дуэта. Не полная, обрывочная. Но она требует твоего взгляда. Сейчас. Пока горячо. Не хочешь... пойти куда-нибудь, где можно говорить, не опасаясь, что тебя подслушают эти стены?»

Квинн смотрела на него. На его сияющие, уставшие глаза. На его руки, всё ещё слегка трясущиеся. Она чувствовала на своей коже остаточное тепло его объятия, запах его пота, смешанный с ароматом деревянного пола. И её собственное сердце всё ещё пело от восторга. Вечер, который должен был закончиться в одиночестве её спальни под джазовые

стандарты, теперь казался пресным и пустым по сравнению с этим живым, дышащим, только что рождённым азартом.

Она улыбнулась — не той светской, отточенной улыбкой, а той же, широкой и немного смущённой, что была у неё минуту назад.

«Только если это будет место, где можно говорить, а не показывать, — сказала она, поднимая свою сумку. — И если ты купишь мне капучино. За то, что я не отправила тебя в маску».

Уголки его губ задрожали, пытаясь сдержать улыбку.

«Капучино, — согласился он, кивая. — И чизкейк. В одном месте, которое я знаю, его готовит пожилая итальянка. Он... он напоминает мне о чём-то хорошем».

Они вышли на улицу. Вечерний воздух был прохладен и свеж после душного зала. Он повёл её не к главным улицам, а в сторону тихих переулков, где свет фонарей был мягче, а из окон маленьких заведений лился тёплый свет. Он говорил на ходу, жестикулируя, сбрасывая остатки напряжения: «Представь, мы начинаем не вместе. Мы в разных углах. Ты — чистота, линия. А я... я как тень, как сбой в программе. И мы не сливаемся, мы... сталкиваемся. Буквально. И из этого столкновения рождается танец, а не гармония...»

Она слушала, впервые видя его таким — не сдержанным, не скрытным, а горящим изнутри творческой лихорадкой. И в этом огне не было ничего опасного. Была лишь страсть. Та самая страсть, которой ей самой иногда не хватало в её безупречном мире.

Они зашли в крошечную кофейню «У Марчеллы». Внутри пахло кофе, корицей и чем-то домашним, мучным. Было всего несколько столиков. Пожилая женщина за стойкой приветливо кивнула Адаму, словно узнавая его, и что-то быстро сказала по-итальянски. Он улыбнулся в ответ и заказал на двоих.

Сидя за маленьким столиком у окна, за которым медленно темнел переулок, они говорили. Сначала о танце, о музыке, о физике движений. Потом разговор, сам собой, стал касаться деталей: как он учился чувствовать ритм, почему она выбрала именно современную хореографию (потому что в ней можно ломать правила). Они говорили о страхе сцены и о том кайфе, который наступает после, когда ты выложился. Она рассказывала о своих первых, нелепых выступлениях, он — о том, как танцевал в полуразрушенном ангаре для друзей, под аккомпанемент старого магнитофона.

И в какой-то момент, когда она смеялась над его историей о том, как он пытался повторить движение из клипа и снёс полку в гараже, Квинн поймала себя на мысли. Она сидит в маленькой, непритязательной кофейне, с парнем, на лице у которого следы побоев, и ей невероятно, до щемящей боли в груди, хорошо. Ей весело. Интересно. Она не думает о статусе, о родителях, о долгах, о фасаде. Она просто есть. А он — есть. И между ними течёт эта лёгкая, тёплая река взаимопонимания.

Когда они вышли, было уже совсем темно. Он молча проводил её до той же остановки, где неделю назад она видела его под дождём. Теперь он стоял рядом, и в его позе не было той отстранённой наблюдательности. Он был здесь. С ней.

«Знаешь, — сказал он, когда вдаль показались огни её такси. — Я сегодня понял одну вещь. Ты, когда не командуешь парадом... ты классная».

Она рассмеялась, слегка толкнув его плечом. «А ты, когда не строишь из себя загадочного незнакомца, вполне сносный собеседник».

Машина подъехала. Она открыла дверь, но задержалась, обернувшись.

«Адам?»

«Да?»

«Завтра. В четверг. Не опаздывай. У нас с тобой... столкновение запланировано».

Он улыбнулся, и в свете фонаря его улыбка была мягкой, без тени привычной ехидны.

«Никуда не денусь, командир. Спокойной ночи».

Она села в машину. И всю дорогу домой не могла избавиться от ощущения тепла на плече, где всего час назад лежала его рука, и от странного, сладкого ожидания завтрашнего дня. Её мир, такой прочный и предсказуемый, дал первую, почти незаметную трещину. И сквозь неё теперь дул свежий, незнакомый ветер.

Репетиции их дуэта начались не с танца, а с молчаливого изучения друг друга на расстоянии вытянутой руки. Они стояли в центре пустого, пропахшего потом и старым деревом зала, будто два дуэлянта перед поединком, где оружием должно было стать доверие. Квинн в своём чёрном стрейчевом комбинезоне, напоминавшем вторую кожу, была воплощённой концентрацией. Адам, в потёртых трениках и майке, казалось, только что вышел из тенистого переулка, но был готов выложиться здесь до последней капли пота.

«Покажи мне движение, которое для тебя так же естественно, как дыхание, — сказала она, не сводя с него глаз аналитического, скальпельного взгляда хореографа. — Без музыки. Просто тело.»

Адам замер на секунду, отключив сознание. Потом его тело начало двигаться. Это не было па. Это было перетекание — медленное, почти медитативное смещение центра тяжести, едва уловимый поворот плеча, кисть, описывающая в воздухе невидимую дугу. В этом не было ни грамма заученности, только врождённое, животное чувство пространства и своего места в нём.

«Хорошо, — выдохнула Квинн, и в её голосе впервые прозвучало не суждение, а интерес. — А теперь замри. Резко. Будто тебя ударило током.»

И его тело, только что плавное, как ртуть, вдруг стало монолитом. Абсолютная, пугающая неподвижность. Мускулы застыли в напряжении, взгляд ушёл в себя. Этот контраст был ошеломляющим. Она поняла: он умеет не только двигаться. Он умеет владеть паузой, тишиной в теле, и это — страшная сила.

С этого дня их жизнь вошла в новый, бешеный ритм, подчинённый двум полюсам. Первый полюс — их зал, их святилище. Работа была каторжной и прекрасной. Квинн выжимала из них обоих всё. Она была безжалостна к себе и к нему. «Нет, Адам, это не ярость, это

истерика! Ярость молчалива! Сожми кулаки, но не криви рот! Снова! С самого начала!» Она разбирала каждое движение на атомы, заставляла повторять связку по тридцать раз подряд, пока мышцы не начинали кричать от боли, а дыхание не становилось хриплым свистом.

Адам принимал это не как наказание, а как высшую форму уважения. Он ловил каждое её слово, каждую поправку взглядом или жестом. Его способность к мгновенному исправлению была почти сверхъестественной. Он работал с такой самоотдачей, будто за этими стенами его ждала не вечерняя улица, а расстрельная команда. Иногда, в редкие минуты перерыва, когда они падали на пол, не в силах пошевелиться, он смотрел на потолок и говорил что-то вроде: «На складе, после двенадцати часов, ноги гудели так же. Но это было бессмысленно. А здесь... здесь каждый лай мышц что-то значит». И она понимала его без слов.

Второй полюс манил по вечерам — крошечная, уютная кофейня «У Марчеллы». Она стала их убежищем, нейтральной территорией, где можно было сбросить доспехи танцора и руководителя. Там, за столиком у окна, заваренным крепким эспрессо и куском тающего во рту чизкейка, рождалась их странная дружба.

Разговоры текли медленно, пробиваясь сквозь пласты осторожности. Сначала — о танце. Он рассказывал, как ритм ему вбили в подкорку грохот станков и рёв конвейера. «Там нельзя сбиться. Сбился — травма. Или увольнение. Танцевать после этого... это как перевести этот каторжный ритм на язык свободы». Она, в ответ, говорила о тирании безупречности в её мире, о том, как сложные па иногда были единственным способом выкричать то, что нельзя было произнести вслух в гостиной особняка.

Потом, незаметно для себя, они начали говорить о жизни. Адам, глядя на кружащиеся в его чашке сливки, рассказывал о матери — швее, чьи пальцы были вечно исколоты иголками, но которая каждую субботу пекла «что-нибудь праздничное», даже если праздником был просто факт, что долг за свет оплачен. Он говорил о ней с такой нежной, сокровенной гордостью, что у Квинн щемило в груди. Она же, осторожно, как по тонкому льду, рассказывала о своем отце — не о «Золотом Драконе», а о человеке, который учил её в детстве играть в покер, и в его глазах в эти моменты был не расчетливый босс, а азартный мальчишка. Она признавалась, что её идеальная комната в подростковом возрасте казалась ей иногда красивой тюрьмой.

В эти вечера они смеялись над глупостями, спорили о музыке (он открыл для неё мир сурового индастриал-рока, который, к её удивлению, отзывался в ней какой-то тёмной струной), молча смотрели на дождь за окном. Между ними возникала лёгкость, глубокая, как тихий

омут. Она ловила себя на мысли, что ждёт этих вечерних посиделок с трепетом, которого не испытывала даже перед самыми важными светскими раутами.

Но Квинн не могла позволить себе раствориться только в этом дуэте. Параллельно, словно дирижёр, управляющий двумя оркестрами одновременно, она вела репетиции массовых номеров «Velvet». И здесь она превращалась в другого человека — не в сосредоточенного исследователя тела партнёра, а в энергичного, харизматичного генерала.

В большом зале, где гремела поп-музыка, царил совсем иной дух. Здесь были её друзья, её команда. Вильям, оказавшийся неожиданно пластичным и азартным, выкладывался в групповом хип-хоп номере с таким энтузиазмом, что постоянно сбивал с ног соседей. «Вильям! Не громи зал, ты не на рэп-баттле!» — кричала Квинн, но в голосе её звенел смех. Она ловко парировала его шутки, давая чёткие, простые указания: «Здесь три шага вправо, хлопок, поворот. Все как один! Джун, ведите за собой левый фланг!»

Джун, робкая в жизни, на паркете расцветала. Её движения были не такими мощными, но невероятно точными и эмоционально наполненными. Квинн работала с ней тоньше, шепча на ухо: «Представь, что ты не просто машешь рукой, ты отталкиваешь что-то тяжелое. Грусть. Да, вот так!»

С Джонсоном, отвечавшим за более плавный, эстрадный номер, она общалась на языке стратегии и эффективности, который он ценил. «Джонсон, твоя группа — наш „разбег“. Вы должны создать настроение, но не перетянуть внимание. Убери эти лишние кивки, оставь только взгляд и движение плеч.»

Она металась от группы к группе, её голос, то командный, то ободряющий, резал воздух. Она ловила дисгармонию, ставила на место зазнаек, хвалила тихонь, из двадцати человек выстраивала единый, дышащий организм. Это был её дар и её крест — умение видеть общую картину, не теряя из виду ни одной детали.

Иногда, делая короткую паузу в массовой репетиции, она бросала взгляд в дальний угол зала, где за стеклянной стеной небольшой студии они с Адамом отрабатывали свой дуэт. Она видела, как он, сосредоточенный и мокрый от пота, ловит её взгляд через стекло. Он не улыбался, лишь слегка кивал, и в этом кивке было столько понимания и поддержки, что ей снова хватало сил повернуться к шумной толпе и скомандовать: «С места! Сначала! И, ради всего святого, синхронно!»

Две реальности Квинн — интимная, глубокая работа в паре и шумная, яркая работа с командой — начали переплетаться. Усталость была чудовищной. Она засыпала над книгами, просыпалась с готовыми хореографическими решениями в голове. Но в этой усталости была и упоительная полнота. Она чувствовала, как растёт — и как танцор в дуэте с Адамом, который заставлял её быть честной, сбрасывать лоск, и как лидер, чьи друзья смотрят на неё не как на наследницу состояния, а как на того, кто может повести их к победе.

А Адам, этот загадочный парень с синяком под глазом, перестал быть просто загадкой или проектом. Он стал её тихим союзником в хаосе, человеком, с которым не нужно было носить маску ни идеальной девушки, ни беспощадного хореографа. И это новое, хрупкое чувство было страшнее и прекраснее любой победы на. Оно было живым, и оно билось в такт их общему, всё ускоряющемуся ритму..

Последняя неделя перед «Velvet» была не подготовкой, а коллективным безумием. Университетский актовый зал превратился в мастерскую творческого хаоса. Тема «Глубина» перестала быть словом — она стала реальностью, в которую они все погружались с головой.

Проблема с драпировкой обнаружилась во вторник утром. Дорогуший чёрный бархат, заказанный «у проверенных людей», висел на заднике криво, образуя нелепую складку посередине. Грузчик, выгрузивший рулон, только развёл руками: «Монтажники завтра, сегодня не доедут».

Квинн стояла перед этим убожеством, сжимая виски. В голове молнией пронеслось: «Сорвётся фон, весь свет пойдёт наперекосяк. Провал».

И тут рядом возник Адам. Он молча оценил ситуацию, потрогал ткань.

«Стеганое одеяло, — произнёс он на удивление спокойно. — Вместо того, чтобы вешать ровно — сделаем его частью концепции. У Джун должны быть остатки чёрного бархата. И мне нужна леска, иглолка и... звёзды».

Через час он уже стоял на самой верхней ступеньке шаткой стремянки, держа в зубах иглу с вдетой леской, а в руках — коробку с матовыми чёрными бусинами разного размера.

«Вильям! — крикнул он вниз, где тот возился с проводами. — Брось всё, свети сюда лучом, я слепну в этой полутьме!»

«Ты что, с ума сошёл? Там же семь метров в высоту!» — отозвался Вильям, но уже хватал мощный LED-фонарь.

«Джун! — Адам не отвлекался. — Бусины. Большие, вот эти, подавай по одной. И не урони, они как чёрные жемчужины».

Джун, затаив дыхание, стала подавать ему бусины. Под лучом фонаря его руки двигались с хирургической точностью. Он не пришивал бусины в ряд. Он вкалывал их в ткань в, казалось бы, случайных местах, но с каким-то внутренним чутьем. Одну — прямо в складку, другую — чуть в стороне, третью — почти у самого края.

Снизу за его работой наблюдали. Квинн подошла ближе, её лицо было напряжённым.

«Что ты делаешь?» — спросила она, стараясь, чтобы в голосе не дрогнула тревога.

«Делаю пустоту, — ответил он, не глядя на неё. Его голос, приглушённый сосредоточенностью, звучал странно завораживающе. — Смотри. Этот бархат — не просто фон. Это бездна. Глубина. А эти бусины... они поглощают свет, а не отражают. Когда погаснет свет и включится специальное освещение, они останутся абсолютно чёрными на чёрном. Создадут иллюзию... провалов. Настоящая глубина не блесит, Квинн. Она пуста, тёмна, и в ней есть точки абсолютного ничто. Дыры. Вот их и надо показать».

Он закончил пришивать очередную бусину и наконец спустился по стремянке, чтобы оценить работу. Снизу это выглядело как абстрактное чёрное полотно с несколькими невзрачными точками.

«Выглядит как дешёвый ремонт, — фыркнул Джонсон, заглянувший посмотреть на сумасшедшего. — Мы что, на поминках?»

«Подожди до вечера, — только и сказал Адам, вытирая пот со лба. — Когда Вильям закончит со своим светом... тогда и поговорим».

А Вильям в это время вёл свою священную войну за свет. Он пропадал на вышке, окружённый коробками с аппаратурой, и его голос гремел на весь зал:

«Нет, вы что, не понимаете? Мне не нужно „красивое голубое“! Мне нужно, чтобы цвет имел глубину! Как в океане, на стометровой глубине — там уже не синий, а фиолетово-чёрный, с зелёными прожилками!»

Техник, пожилой ворчливый дядька, разводил руками: «Парень, у меня тут три стандартных фильтра: синий, красный, зелёный. Ищи другое».

И Вильям искал. Он потратил полдня и львиную долю оставшегося бюджета на заказ специальных светодиодных лент и RGB-контроллер, который можно было программировать с телефона.

«Смотри, — он поймал за руку Квинн и Адама, ведя их в самый тёмный угол зала. На его планшете сияла сложная цветовая палитра. — Вот базовый слой — индиго, цвет ночной воды. Глубокий, холодный. Потом, поверх, я запускаю волну... смотри». Он ткнул в экран, и цвет сменился на сложный фиолетово-лиловый, с едва уловимыми вспышками аквамарины. — «Это — проникновение в самую суть. А вот кульминация...» Он включил ещё один слой, и экран залил абсолютно новый, неземной цвет — холодный ультрафиолетовый отблеск с серебристым

свечением в центре. — «Это свет из самой глубины. Из того места, куда не проникает ничего. И всё это будет двигаться по залу. А когда этот свет упадёт на ваши костюмы...»

Он замолчал, глядя на них сияющими глазами фанатика. «Вы станете частью этой пустоты. Вы загоритесь изнутри, как два одиноких источника света в абсолютной тьме».

Тем временем Джун создавала свою вселенную в углу, заваленном тканями. Она переделывала простые чёрные лосины и водолазки массовки.

«Ты, — говорила она тихой, но твёрдой девушке, — будешь „тенью от глубины“. Тебе нужен объём, но без блеска». Она прикалывала к её плечам и бёдрам странные, асимметричные накладные из чёрного поролон, обтянутые матовой тканью с едва заметным серым переливом. — «Ты не танцуешь. Ты возникаешь из темноты. Твои движения должны быть резкими, но плавными, как тени на дне ущелья».

Подойдя к Квинн и Адаму, она показала их перчатки. «Я вшила сюда оптическое волокно, — сказала она, и в её голосе звучала гордость изобретателя. — Оно будет тянуться от кончиков ваших пальцев до локтей. Когда вы будете касаться друг друга в дуэте, особенно в кульминации, где вы будто пытаетесь найти опору в пустоте... эти нити загорятся. Сначала слабо, а потом всё ярче. Это будут... нити связи. Или разряды напряжения между двумя полюсами в вакууме».

Квинн взяла перчатку. Она была невесомой, и нити внутри были почти неощутимы. «Джун, это... гениально», — прошептала она. Подруга улыбнулась, и в её глазах Квинн увидела не просто помощницу, а полноправного соавтора.

Джонсон был их якорем в этом творческом шторме. Он сидел за столом президиума, окружённый ноутбуками, распечатками и постоянно звонящим телефоном.

«Квинн, — его голос, как всегда, был деловито-спокойным, но в нём появилась металлическая нота усталости. — Подойди на секунду. Вот твой график. Твой дуэт — 4 минуты 30 секунд. После вас — немедленный выход массовки №2. У них на переодевание

— 1 минута ровно. Если ты затянешь хотя бы на 10 секунд, они выбегут на сцену с расстёгнутыми комбезами. Это будет похабно. Режь. Или ускоряй темп на 15%. Выбери что-то одно».

Он протянул ей таблицу, где всё было расписано до секунды. Квинн сжала губы. Резать танец... это всё равно что резать по живому. Но он был прав.

«Хорошо, — кивнула она. — Я уберу две связки перед кульминацией. Они и так были лишние».

«Умница, — одобрительно хмыкнул Джонсон. — А вот послушай, что я нашёл для вашей музыки». Он нажал кнопку на ноутбуке.

Из колонок полилось что-то тяжелое и пронзительное. Начиналось с одинокого, чистого звука виолончели — протяжного, печального, как крик в пустом колодеце. Потом вступал ломкий, почти болезненный звук пианино, который накладывался на глубокий, пульсирующий электронный гул, похожий на биение огромного подземного сердца. Музыка была лишена мелодии в привычном смысле — это было нагнетание атмосферы, погружение в самое нутро тишины и одиночества, прерываемое редкими, резкими звуковыми всплесками, похожими на вспышки осознания в полной темноте.

«Это... идеально, — выдохнула Квинн, чувствуя, как мурашки бегут по коже. — Откуда?»

«Глубокий интернет, — ухмыльнулся Джонсон. — Коллектив из Исландии, делает саундскейпы. Я им описал концепцию „Глубины“ — не космос, а внутреннее состояние, падение, поиск дна. Они прислали это как демо. Бесплатно. Сказали, что наш „проект вдохновил“. Вот тебе и звуковая бездна».

В этот момент в зале погас свет. На секунду воцарилась крошечная тьма. Потом, медленно, как зарождающееся в глубине сияние, загорелись световые ленты Вильяма. Сначала

тёмно-синие, как омут. Потом в них пробежали фиолетовые волны, создавая иллюзию движения в толще. И наконец, когда свет достиг задника, случилось чудо. Чёрный бархат с бусинами Адама не просто висел — он исчез. Он стал бесконечной, бездонной чернотой. А те самые матовые бусины превратились в зияющие провалы, в чёрные дыры в самой ткани реальности, которые казались глубже, чем сама сцена. Эффект был ошеломляющим. Это была не декорация. Это была иллюзия стояния на краю ничто.

«Боже... — прошептала Квинн. — Это... именно то, что я хотела, но даже не могла сформулировать».

Рядом с ней стоял Адам. Он молчал, но в его глазах, отражавших рождающееся в глубине свечение, читалось глубокое, почти мистическое удовлетворение.

«Я же говорил, — тихо произнёс он, больше для себя. — Глубина не идеальна. Она пуста. И в этой пустоте... только так и можно найти что-то настоящее».

А потом свет упал на Квинн и Адама, на их простую тренировочную одежду, на которую Джун уже набросила куски ткани со светоотражающими элементами. И они загорелись. Сначала слабым, призрачным свечением по контурам тела, а потом, когда Вильям добавил холодный серебристый слой, они вспыхнули изнутри, как два сгустка живой, светящейся плоти, заброшенные в чёрную пустоту мироздания.

В этот момент все — и Квинн, и Адам, и Вильям на вышке, и Джун у своего «цеха», и даже Джонсон за столом — замерли. Они увидели это. Увидели ту самую «Глубину», которую пытались создать. Это был уже не проект. Это было чудо, рождённое их общими руками, и оно было пугающе, невероятно красиво.

И в этом свете, в этой рождённой ими бездне, Квинн поймала взгляд Адама. И в его глазах она прочла то же, что чувствовала сама: страх перед грядущим прыжком в эту пустоту и лихорадочную, неудержимую жажду совершить его. Вместе.

Подглава. Молчание между тактами.

Последние репетиции дуэта перед «Velvet» превратились в странный, почти мистический ритуал. Техника была отточена до автоматизма — их тела помнили каждое движение, каждый поворот, каждую точку касания. Но теперь работа шла на ином уровне. Они перестали танцевать историю — они стали ею.

Детали, добавленные в музыку Джонсоном — этот пронизывающий до костей микс виолончельного стона, ломаного пианино и подземного электронного гула — больше не была просто саундтреком. Она стала языком, на котором они говорили то, чего не могли сказать словами. Когда звучали первые ноты, что-то щёлкало в воздухе. Квинн и Адам замирали на секунду, будто настраиваясь на одну частоту, а затем погружались в танец с такой абсолютной самоотдачей, что казалось, они забывают, где заканчивается сцена и начинается реальность.

В среду вечером, за три дня до выступления, зал был пуст. Все уже разошлись, уставшие после целого дня работы над декорациями и светом. Остались только они — и эта давящая, звенящая тишина, которую нарушала лишь их музыка, звучащая из колонок на минимальной громкости.

Они репетировали кульминацию — серию «падающих» поддержек. Суть была в полном доверии: Квинн должна была буквально бросить себя назад, в слепую зону, полагаясь только на то, что Адам окажется там, чтобы принять её вес и, вращая, мягко опустить на пол, имитируя замедленное, бесконечное падение в пропасть.

Десятый раз за вечер. Музыка вышла на самый тихий, напряжённый отрезок — остался лишь низкочастотный гул, вибрирующий в груди. Квинн сделала разбег, толчок — и полетела назад, закрыв глаза, отдав себя силе тяжести и его рукам. Он поймал её. Чётко, надёжно, как всегда. Его руки сомкнулись на её талии, остановив падение.

И тут музыка окончательно стихла. Осталось только их дыхание — неровное, громкое в гулкой тишине зала. И Адам не отпустил.

Он замер, держа её на весу, её спина прижата к его груди. Она почувствовала, как его сердце бьётся где-то у неё за спиной — учащённо, гулко, как барабан в пустой пещере.

«Адам? — тихо позвала она, ещё не понимая. — Что-то не так? Ты должен опускаться...»

«Тихо, — его голос прозвучал прямо у её уха, сдавленный, хриплый. Не команда. Просьба. — Просто... помолчи. Секунду.»

Она замолчала. Он всё ещё держал её, и его дыхание, горячее и влажное, обжигало кожу на её шее. Его пальцы слегка сжали её талию, не больно, а как будто проверяя реальность.

«Квинн, — снова заговорил он, и его слова были похожи на признание, вырывающееся под пыткой. — Скажи мне честно. Ты... ты когда-нибудь думаешь о том, что будет, когда всё это кончится?»

Вопрос повис в ледяном воздухе. Она попыталась вывернуться, чтобы посмотреть ему в лицо, но он не дал, лишь ослабил хватку, позволив ей опустить ноги на пол. Но не отпустил полностью. Они стояли спиной к груди, и она чувствовала всё напряжение его тела.

«Кончится? „Velvet“? — переспросила она, играя в непонимание, потому что боялась того, о чём он на самом деле спрашивает. — Конечно. Будет провал или триумф. А потом... учёба, экзамены, диплом.»

«Не про „Velvet“, — он почти резко перебил её. Его руки на её плечах развернули её к себе. Теперь они стояли лицом к лицу в полумраке, освещённые только тусклым аварийным светом, делавшим их лица похожими на маски. — Я про... это. Про нас. Вот так. В пустом зале. Когда нет зрителей, нет декораций, нет этой чёртовой музыки. Когда мы просто... двое. Что тогда?»

Квинн почувствовала, как подкатывает ком к горлу. Она отводила этот вопрос, прятала его под пластами репетиций, споров о свете, бесконечных списков дел. А теперь он висел между ними, огромный и неудобный, как неразорвавшийся снаряд.

«Я не знаю, — прошептала она, и её голос сорвался. Это была правда. Она боялась этого „после“. Боялась, что оно разобьёт хрупкое равновесие, которое они нашли. — Ты... ты же сам говорил. Разные миры. Разные берега. Это... это просто танец, Адам. Красивый, сложный, но... танец.»

«Лжешь, — сказал он тихо, без злости, с какой-то бесконечной усталостью. — И я лгу. Мы оба знаем, что это не „просто танец“. Я ловлю тебя не потому, что так написано в хореографии. Я ловлю тебя потому, что не могу иначе. Потому что если ты упадёшь на самом деле...» Он запнулся, сглотнув. — «Для меня это будет концом. Всему.»

Он замолчал, словно испугавшись собственной откровенности. Его взгляд, тёмный и невероятно глубокий, блуждал по её лицу, как будто пытаясь запечатлеть каждую черточку в этой полутьме. Потом он медленно, почти нерешительно, поднял руку. Его пальцы — шершавые, с загрубевшими подушечками и следами от лески — приблизились к её щеке. Он не касался, просто водил кончиками пальцев в миллиметре от её кожи, и от этого возникало мурашечное, электрическое ощущение.

«Ты знаешь, что самое страшное в глубине? — прошептал он, и его глаза наконец встретились с её. — Не темнота. Не давление. А тишина. Абсолютная, всепоглощающая тишина, в которой слышно только собственное сердце. И голос в голове, который спрашивает: „А есть ли кто-то там, наверху? Услышит ли кто-нибудь, если я закричу?“ Вот мы сейчас... мы как раз в этой тишине. И мне нужно знать. Ты... ты там?»

И тогда он всё же коснулся. Кончиками пальцев. Сначала её виска, потом скулы, скользнув вниз к уголку губ. Прикосновение было лёгким, как паутина, но оно обожгло её, как раскалённое железо. Это был не жест танцора, не часть постановки. Это было что-то древнее, простое и пугающе честное.

Весь её выстроенный, укреплённый годами мир — с его правилами, ожиданиями, идеальными фасадами — дал трещину и рухнул внутри неё с глухим гулом. Не осталось ничего.

Ни статуса, ни долга, ни страха. Была только эта леденящая пустота зала, звенящая тишина и его шершавые пальцы на её коже, которые были единственной точкой опоры во вселенной.

Она не думала. Мысли уплыли, как щепки в водовороте. Остался только инстинкт. Инстинкт тонущего, хватающегося за соломинку. Инстинкт человека, который наконец-то решился закричать в этой тишине.

Она потянулась к нему.

Их губы встретились не страстно, а с отчаянной, иссушающей горло нежностью. Это было похоже на первый глоток воды после долгой жажды. Его губы были тёплыми, твёрдыми, слегка потрескавшимися. Её — холодными и неуверенными. Они не обнимались, не прижимались друг к другу. Они просто стояли, слившись в этом хрупком, беззвучном поцелуе, как два одиноких сигнала, наконец-то поймавшие друг друга в радиошуме вселенной. В нём был весь их страх, всё накопившееся напряжение, немой вопрос «а что, если?» и облегчение от того, что ответ, наконец, найден.

Поцелуй длился всего несколько секунд. Адам оторвался первым, отпрянув, как от удара током. Его глаза были огромными, в них читался чистый, неподдельный ужас — не от содеянного, а от той бездны ответственности и чувств, что вдруг распахнулась перед ним.

«Извини, — выдохнул он, его голос сорвался. — Я не... я не имел права. Я всё испортил».

Квинн открыла глаза. Мир медленно возвращался в фокус, но он уже был другим. Искажённым. Преображённым. Внутри всё сжималось от ужаса и ликовало от освобождения.

«Заткнись, — сказала она, и её голос дрожал, но в нём не было злости. Была лишь предельная усталость и какая-то новая, хрупкая твёрдость. — Просто... заткнись, Адам. Не извиняйся».

Они стояли, не зная, что делать дальше. Воздух между ними звенел от невысказанного.

«Завтра, — наконец проговорила Квинн, делая глубокий, выравнивающий вдох. Она собирала себя по кусочкам, как разбитую вазу. — Генеральная репетиция. Последний прогон. Без... без всего этого. Чистая работа. А всё остальное... — она посмотрела ему прямо в глаза, и в её взгляде теперь была не девичья растерянность, а решимость капитана, ведущего корабль через шторм, — всё остальное — после „Глубины“. Мы разберёмся. После. Договорились?»

Он смотрел на неё, и в его взгляде шла борьба. Борьба между желанием сказать ещё что-то, обнять её, и пониманием её правоты. Он медленно кивнул, один раз, резко, как будто рубил что-то.

«Договорились».

Они больше не говорили о поцелуе. Они даже избегали смотреть друг другу в глаза слишком пристально. Но когда на следующий день, во время генеральной репетиции, зазвучала музыка, и они вышли на залитый странным, холодным светом паркет, что-то переменилось навсегда.

Каждое движение теперь было наполнено двойным смыслом. Когда его руки ловили её в падении — это было не просто исполнение связки. Это было обещание, данное в темноте. Когда она скользила мимо него, их плечи едва соприкасались — это был не переход, а вопрос, на который уже был дан ответ. Их взгляды, встречаясь на долю секунды, говорили больше, чем любые слова. В них была и паника, и благодарность, и страх, и та самая, невыносимая нежность, которую теперь нужно было сдерживать железной волей.

Их танец перестал быть постановкой. Он стал исповедью. Дыханием двух людей, нашедших друг друга в абсолютной пустоте и теперь пытающихся выстроить между собой хрупкий мост из прикосновений и взглядов. Они вошли в свою личную, настоящую глубину. И теперь им предстояло самое сложное — не утонуть в ней до того, как зажжётся свет софитов и начнётся отсчёт.

Квинн стояла у окна своей идеальной спальни, но сегодня ничто не радовало глаз. Всё казалось чужим, фальшивым декорациями к её прежней жизни. Там, внизу, за высоким забором, лежал чужой, подлый мир Лэнгборука, а вот здесь, внутри неё самой, бушевала своя, личная буря.

Она смотрела на отражение в тёмном стекле. Безупречное платье висело на вешалке — чёрное, с серебристыми нитями, созданными руками Джун. В нём она должна была завтра стать частью той пустоты. А сейчас она была в старом, мягком халате, с распущенными волосами, и чувствовала себя разбитой, разодранной изнутри.

Поцелуй.

Одно слово, одно воспоминание зажигало в ней одновременно огонь и лед. Шершавые пальцы на щеке. Дыхание у уха. Звонящая тишина зала. Его губы — тёплые, неуверенные, испуганные, как и её собственные. Это был не флирт, не игра в страсть для галочки. Это было падение. Настоящее. И она до сих пор чувствовала под ногами пустоту.

Она закрыла глаза, прислонившись лбом к холодному стеклу. Мысли скакали, как обезумевшие лошади.

Что он теперь думает? Испугался? Пожалел?

Это всё ломает танец. Разрушит хрупкий баланс команды.

А что, если это — единственное настоящее, что со мной когда-либо происходило?

Её руки сами потянулись к телефону, лежавшему на тумбочке рядом с ноутбуком. На экране мирно светились уведомления. Но одно имя манило, как спасательный круг. Джун.

Пальцы застучали по клавишам быстрее, чем думала голова.

Квинн: Джун, ты не спишь?

Джун: (ответ пришёл почти мгновенно, будто она ждала) Ещё бы! Тестирую финальную версию ваших гримов при тусклом свете. У меня под глазами сейчас как у енота, но это неважно. Что случилось? Чувствую, что-то не так.

Квинн закусила губу. Сказать. Надо было сказать. Вылить наружу этот комок паники и восторга.

Квинн: Ты помнишь, когда у тебя были первые чувства к тому парню из художественной школы? Тому, с которым ты потом полгода переписывалась стихами?

Джун: Оу. Конечно. Боже, это было неловко и прекрасно. А при чём тут... — Пауза в переписке была почти осязаемой. — Ох. Квинн. Это про Адама.

Квинн: Это про Адама.

Джун: Случилось что-то? Он что-то сказал? Сделал?

Квинн глубоко вдохнула и выдохнула прямо на стекло, затуманив отражение. Как это сказать? «Мы поцеловались посреди пустого зала, и теперь моя вселенная трещит по швам»? Звучало как дешёвая мелодрама.

Квинн: Что-то случилось. После репетиции. Мы... пересекли какую-то черту. И я не знаю, что теперь делать. Это как будто я готовила идеальный пирог по рецепту, а он вдруг взорвался в духовке и превратился во что-то другое. Вкусное, но непонятное и страшное.

Джун: Пересекли черту... Квинн Эванс, ты хочешь сказать, что у вас был контакт? Физический? Больше, чем просто поддержка в танце?

Квинн: Да.

Долгое молчание. Квинн представляла, как Джун на кухне своего маленького домика застывает с кисточкой для грима в руке, её глаза становятся огромными.

Джун: О БОЖЕ. Рассказывай. ВСЕ. ДЕТАЛИ. Ну, кроме совсем уж пикантных, если они были.

Квинн: Не было никаких пикантностей! Была пустота. Тишина. И этот поцелуй. Как будто мы оба тонули и одновременно нашли воздух. И теперь я не могу думать ни о чём другом.

Я должна быть сосредоточена! Завтра выступление! А у меня в голове карусель: «Он классный», «Это безумие», «Мама убьёт», «А что, если это оно? Настоящее?».

Следующее сообщение Джун было длинным, обстоятельным, как всегда, когда она говорила о чём-то по-настоящему важном.

Джун: Слушай меня, любимка. Во-первых, дыши. Прямо сейчас, глубоко вдохни и выдохни три раза. Сделала? Теперь слушай. Ты не сломала пирог. Ты поняла, что рецепт был неполный. Адам... он не вписывается в твой старый рецепт. И слава Богу. Посмотри, что произошло с момента, как он появился. «Глубина» стала не просто шоу, а чем-то живым, пугающим и честным. Ты сама стала другой — не только на сцене, Квинн. Ты стала... живее. Искреннее. И да, тебе страшно. Потому что это неизвестность. А ты привыкла всё контролировать.

Квинн: А завтра? Как я выйду на сцену и буду смотреть ему в глаза? Как буду падать к нему в руки, зная, что... зная, что это не просто танец?

Джун: Ты выйдешь и станцуешь лучше, чем когда-либо. Потому что теперь между вами есть то, чего не купишь и не поставишь — настоящая связь. Электричество. Страх, да. Но и доверие. Ты ему доверяешь, чтобы поймать. Он доверяет тебе, чтобы вести. Просто позволь этому случиться. Не анализируй завтра. Прочувствуй. А разобраться во всём остальном... вы разберётесь. После. Как он и предложил, да?

Квинн: (Слёзы навернулись на глаза, но это были слёзы облегчения) Да. После. Спасибо, Джун. Ты... ты единственная, кому я могу это сказать.

Джун: Всегда. А теперь ложись спать. Или попробуй. Представь, что ты уже на сцене, свет софитов слепит, музыка входит в тебя, и ты просто... летишь. А он там. Он поймает. Обещаю.

Квинн положила телефон. Разговор помог, но тревога не ушла, лишь отступила, превратившись в глухое, тёплое волнение под ложечкой. Она подошла к платью, провела пальцами по холодному, мерцающему шитью. «Завтра, — подумала она. — Всё решится завтра».

— --

В то же самое время, в маленьком домике, царила своя атмосфера — не тихого ожидания, а приглушённой тревоги, пахнувшей лавандой и старыми страхами.

Воздух был напоён запахом сушёной лаванды — мама Адама развесила мешочки повсюду, стараясь создать иллюзию покоя. Но её собственные движения были резкими, нервными, когда она протирала уже сияющий чистотой стол.

Адам сидел за этим столом, собирая рюкзак. Его движения были выверенными, механическими: сложенная футболка, бутылка воды, запасные носки, пластырь. Каждый предмет ложился на своё место с военной точностью.

— Всё готово? — голос матери прозвучал тихо, но в нём дрожала неуловимая нота.

— Да, мам, — он не поднял головы, проверяя застёжки на рюкзаке. — Всё на месте. Завтра только костюм взять.

Она подошла ближе, её тень упала на стол. Адам почувствовал, как напряглось пространство вокруг.

— Сынок... — она начала, затем замолчала, будто подбирая слова. — Ты сегодня... ты вернулся каким-то... притихшим. Что случилось? С девочкой той... Квинн?

Адам наконец посмотрел на неё. Свежий синяк почти сошёл, но в его глазах была не привычная матери усталая решимость, а что-то новое — сложная смесь покоя и внутренней бури.

— Я поговорил с ней, — сказал он прямо. — По-настоящему. Мы... кое-что поняли.

Мама медленно опустила руку на стул напротив. Её руки, всегда занятые работой, теперь беспомощно лежали на столешнице. На одной из них, у указательного пальца, был свежий, красный укол от иглы.

— Это... серьёзно? — спросила она, и в её голосе был не только страх, но и слабая, робкая надежда.

— Не знаю, мам, — честно признался он. — Но это... настоящее. Когда мы рядом... все эти долги, эти границы между нашими мирами... они как будто стираются. Остаёмся просто мы.

Мама кивнула, но её взгляд был далёким, будто она смотрела сквозь него, в какую-то свою бездну. Потом она вздохнула — глубоко, сдавленно, как будто этот вздох вытаскивал из неё что-то тяжёлое и горькое.

— Сегодня... ко мне на работу приходили, — выговорила она наконец, почти шёпотом. Лёд пробежал по спине Адама. Он замер.

— Кто? — его собственный голос прозвучал глухо.

— Не те... не те, что тебя... — она махнула рукой в сторону его почти зажившего синяка. — Другие. Офисные. В костюмах, но... дешёвых. Говорили вежливо. Слишком вежливо. Спрашивали, как наши дела. Напоминали... о графике. — Она сжала руки в кулаки, и её костяшки побелели. — Говорили, что «инвесторы проявляют беспокойство». Что «терпение не безгранично». Смотрели на мои руки, на станки... — её голос сорвался. — Как будто оценивали, сколько ещё можно выжать.

Тишина в кухне стала густой, удушающей. Даже запах лаванды не мог заглушить внезапно материализовавшийся в воздухе запах страха — резкий, металлический.

Адам сидел не двигаясь, но внутри него всё перевернулось. Спокойствие, найденное с Квинн, рухнуло, сменившись знакомой, едкой яростью и чувством леденящей беспомощности. Они не трогали его. Они пришли к ней. К его матери. В её святилище, в её крошечный мир порядка и достоинства.

— Я всё решу, мам, — сказал он, и его голос был плоским, лишённым всякой интонации. — Ты больше об этом не думай.

— Как не думать?! — она вскочила, и в её глазах, наконец, прорвался испуг. — Они пришли ко мне, Адам! На мою работу! При всех! Шёпотки по цеху уже пошли... Я... я не знаю, куда смотреть завтра.

Он встал, обошёл стол и взял её за плечи. Она была такой маленькой, такой хрупкой под его ладонями.

— Завтра, — сказал он, глядя ей прямо в глаза, и в его взгляде зажёгся тот самый стальной огонь, который она так боялась в нём видеть, — завтра я выйду на ту сцену. И я выиграю. Я возьму первый приз. Эти деньги... они покроют самый срочный платёж. Они заставят этих ублюдков в дешёвых костюмах отступить хоть на шаг.

— Но это танцы, сынок, это не... — начала она.

— Это шанс, — перебил он резко. — Самый честный шанс, который у меня есть. Я не буду воровать. Не буду унижаться. Я выйду и сделаю то, что умею лучше всего. И выиграю. Ради тебя. Ради того, чтобы они больше никогда не смели приходить к тебе и смотреть на твои руки.

Слёзы, наконец, потекли по её щекам — тихие, усталые.

— А эта девочка... Квинн... — прошептала она. — Она... она часть этого твоего шанса? Адам замер. Потом медленно кивнул.

— Да. Но не так, как ты думаешь. Она не ключ к деньгам её отца. Она... — он искал слова, — она причина, по которой я вообще могу поверить, что что-то может получиться. Что я могу быть не только тем, кто отдаёт долги. Что я могу быть... тем, кто побеждает.

Мама смотрела на него, и в её взгляде шла борьба. Страх за него. Страх за себя. Гордость. И та самая, выстраданная надежда, которая одна и держала её на ногах все эти годы.

— Так станцуй, — выдохнула она наконец, обнимая его. — Станцуй так, чтобы у них дух захватило. Выиграй. И... и будь с ней осторожен. И с собой.

— Обещаю, — прошептал он в её седые волосы.

Но в его голове уже стучал новый, ясный план. Романтические туманы рассеялись, сменившись холодной, целеустремлённой ясностью. Завтрашний танец был больше не просто исповедью чувств. Это была битва. Первая честная битва за их будущее. И он должен был выиграть её любой ценой. Для матери. И, как ни странно, теперь и для себя — для того человека, которым он начал становиться рядом с Квинн.

— --

Тем временем, по всему городу, другие участники «Velvet» готовились ко дню икс, не подозревая о бурях, бушующих в маленькой кухне на краю спального района.

Вильям последний раз прокручивал в голове сложнейшую световую палитру. Джонсон сверял расписания, его лицо в синем свете монитора было похоже на лицо полководца. Сэм обходил зал, его шаги эхом раздавались в пустом пространстве. Джун, закончив переписку, упаковывала свой чемоданчик, чувствуя, что завтра произойдёт нечто большее, чем шоу.

А Квинн наконец легла в постель. Она выключила свет, и комната погрузилась в мягкую темноту. Под закрытыми веками проплывали его глаза, его руки, его губы. Страх и надежда сплелись в один клубок. «После, — думала она. — Всё решится после».

Она не знала, что для человека, чей взгляд она сейчас представляла, «после» уже началось. И цена этого «после» была теперь выше, чем когда-либо. Его танец завтра будет не только любовной исповедью, но и клятвой, высеченной в свете и движении. Клятвой защитить тех, кого любит, даже если для этого придётся прыгнуть в самую настоящую, не придуманную глупину.

Рассвет нового дня не просто наступил — он был завоёван. Первой его встретила Джун, не спавшая полночи, перебирая в темноте флакончики с пигментами и представляя, как свет софитов ляжет на кожу, обработанную её кистями. В 6:03 её телефон вздрогнул от сообщения Сэма. Она не удивилась. Просто потянулась, её кости хрустнули от напряжения, и в тишине её маленькой комнаты этот звук был похож на стартовый выстрел.

В 6:20 первая партия круассанов прибыла в студию. Их доставил фургончик от той самой булочной, которую советовал Адам. Аромат свежей выпечки, ванили и горячего масла стал первым физическим запахом дня «Velvet». Джонсон лично принимал груз, приехав первым на студию, сверял количество по чеку, его лицо в свете уличного фонаря было непроницаемо, но пальцы, перебирающие пачки бумажных салфеток, выдавали лихорадочную энергию.

Квинн проснулась ровно в 6:30 от внутреннего толчка, будто кто-то щёлкнул выключателем. Она лежала секунду, прислушиваясь к абсолютной тишине особняка, чувствуя, как под рёбрами заводится маленький, холодный моторчик тревоги. Она не позволила ему раскрутиться. Вскочила, и её утренний ритуал был лишён обычной грации. Движения были резкими, целеустремлёнными. Душ — почти ледяной, чтобы встряхнуть нервы. Одежда — не для красоты, а для войны: чёрные леггинсы, темная серая толстовка с капюшоном (подарок Джун на прошлый день рождения), белые тренировочные кроссовки. Волосы она стянула в тугой, высокий пучок так крепко, что кожа на лбу натянулась. Никакой увлажняющий крем, никакой помады. Её отражение в зеркале было строгим, почти аскетичным. Это был не образ. Это была форма.

В 7:45 её Porsche тихо вырулил с Рэдвуд-стрит. Она не включила музыку. Ехала в тишине, пальцы вперёд и назад по рифлёному ободу руля. Город в это утро был пустым холстом, и она мысленно набрасывала на него сегодняшний день: линии расписания, точки сбора, цветовые пятна света.

8:00. Студия «Бета».

Дверь распахнулась, и на Квинн обрушилась волна звука. Не хаотичного, а плотного, густого — гул десятков голосов, скрип пластиковых стульев, шипение кофемашины, которую кто-то уже успел включить. Воздух был тёплым и влажным от дыхания и пара. На огромном столе, застеленном рулоном белой бумаги, бушевал пиршественный стол: корзины с круасса-

нами, миски с нарезанными ананасами, клубникой, киви, горы йогуртов в маленьких баночках, термосы с кофе и чаем.

Сэм уже стоял посреди комнаты, его спокойная, уверенная фигура была точкой отсчёта. Он кивнул Квинн, не улыбаясь, но его взгляд сказал: «Начинаем». Джун колдовала у импровизированного «грим-станка» — двух столов, составленных вместе и застеленных одноразовыми скатертями. Она раскладывала кисти по размеру и назначению в стаканы, расставляла палитры, протирала спиртом поверхности. Её движения были медитативными, она настраивала не только инструменты, но и себя.

Вильям был в своём углу, окружённый коробками. Он что-то паял, и запах канифоли смешивался с кофейным. На его лбу уже выступил пот.

— Всё в порядке? — голос Квинн прозвучал не как вопрос, а как проверка боеготовности.

— Через десять минут первый тест, — отчеканил Вильям, не отрываясь от платы. — Новая прошивка для RGB-лент. Говорят, переходы цветов будут плавнее. Проверим.

Квинн сделала круг по студии. Похлопала по плечу девушку из массовки, которая нервно теребила край футболки. Проверила, есть ли запасные батарейки для микрофонов. Встретилась взглядом с Адамом, который только что вошёл. Он был в чёрном худи и таких же тёмных трениках, с огромным спортивным рюкзаком за спиной. Их взгляды скрестились на секунду — короткий, мощный разряд понимания — и тут же расцепились, потому что к нему сразу подошли двое парней с вопросом по сложной поддержке в групповом номере. Квинн увидела, как он моментально переключился: отстранённый наблюдатель исчез, появился практик. Это его успокаивало. Конкретика. Задача. Ей стало чуть легче.

10:00 – 11:00. Упаковка хаоса.

Начался процесс, который Джонсон в своём планшете обозначил как «Логистика-Альфа». Нужно было переместить в главный зал:

- 23 костюмных чехла, подписанных и рассортированных по актам.
- 4 ящика с обувью (кеды, джазовки, кроссовки для хип-хопа).
- Чемоданчики с гримом и парикмахерским набором.
- 3 коробки с реквизитом (светящиеся жезлы, куски ткани, маски).
- Оборудование Вильяма: 5 тяжелых ящиков с аппаратурой, катушки кабелей.
- «Станцию жизнеобеспечения»: воду, энергетические батончики, бананы, яблоки, термосы с травяным чаем.

Это был слаженный танец, репетировавшийся неделями. Каждый знал, что за что отвечает. Адам и ещё пара крепких ребят взяли на себя самое тяжёлое — ящики Вильяма. Мускулы на его руках напряглись под тканью худи, но лицо оставалось спокойным. Квинн, проходя мимо с пачкой костюмных вешалок, уловила его низкий, ровный голос, подбадривающий приунывшего паренька: «Да ничего, второй этаж — это фитнес такой. Засчитаем за разминку».

11:00. Главный зал. Захват территории.

Огромное пространство, которое вечером должно было погрузиться во «Глубину», сейчас было залито резким, будничным светом и казалось пустынным и холодным. Но ненадолго.

Зона костюмов возникла у дальней стены: вешалки на переносных рейлах, под каждой — подписанная коробка с обувью и костюмами для конкретного номера. Этим царствовала Джун, помогая волонтерам развесить комбезы, лосины, топы.

Гримёрная зона — прямо на сцене, в стороне от рабочих декораций. Три стола с зеркалами, окружёнными лампочками. Рядом — стол с косметикой, похожий на лабораторию алхимика: ряды тональных основ разного оттенка, коробки с тенями, румянами, хайлайтерами, стаканы с кистями всех калибров.

Технический штаб Джонсона расположился в первом ряду партера. Ноутбук, рации на зарядке, распечатанные графики толщиной в палец. Сам он ходил по залу, сверяясь с планом, отмеряя шагами расстояния.

Световая вышка Вильяма уже напоминала капитанский мостик звездолёта. Он забирался туда, и сверху доносилось его бормотание в рацию и щелчки тумблеров.

Квинн стояла по центру зала, медленно поворачиваясь на месте. Она впитывала пространство. Видела не пустые кресла, а сегодняшнюю аудиторию. Видела не голый задник, а ту самую чёрную бездну с бусинами-провалами. Её задача сейчас была быть нервным центром, принимать решения, гасить мелкие пожары.

И они начались. Сразу.

— Квинн! У Марка из массовки порвана молния на комбезе!

— Джун! Где запасной?

— Запасной на два размера больше!

— Надеть поверх футболки, будет выглядеть как объём. Сделаем фишкой. Джун, про-
верь, — отдала распоряжение Квинн, даже не задумываясь.

— Квинн, динамик в левом углу хрипит!

— Позовите звукача. Вильям, если не починят за полчаса, перекидывай акцент освеще-
ния на правую часть зала, чтобы отвлечь внимание.

— Понял.

Она была, как дирижёр, который слышит фальшь в самом тихом голосе оркестра.

— --

12:00 – 13:30. Алхимия превращения. Грим.

Первыми пошли те, у кого были самые простые образы — массовка первого акта. Они усаживались на стулья перед Джун и её помощниками. Процесс был конвейерным, но не бездушным.

— Закрой глаза, дыши глубже, — тихо говорила Джун девушке, которая дрожала. — Сейчас будет прохладно. — Она наносила праймер, потом плотную, матовую основу, почти белую, «алебастровую», как она это называла. Потом работала со скульптурированием: лёгкая синева под глазами, провалы на висках, резче линия скул. Глаза она делала огромными, с дымчатыми серо-голубыми тенями, но без блеска. Губы — почти бесцветные, с лёгким серо-сиреневым подтоном. Это были не лица людей. Это были лица существ из бездны, потерявших часть своей индивидуальности, слившихся со средой.

Квинн наблюдала за этим, поправляя растяжку у барьера. Она видела, как знакомые лица исчезают, превращаясь в детали единого полотна. Это было и жутковато, и прекрасно.

Её очередь настала ближе к обеду. Она села в кресло перед главным зеркалом. Джун встретила её взгляд в отражении.

— Готова стать кем-то другим? — тихо спросила подруга.

— Готова стать собой, — так же тихо ответила Квинн. — Той, что пряталась очень глу-
боко.

Джун улыбнулась и принялась за работу. Это был уже не конвейер. Это был ритуал. Кисти были тоньше, движения — более выверенными. Основу она нанесла ту же, но работала с лицом Квинн иначе. Она не скрывала её черты, а превозносила их. Высокие скулы стали ещё рельефнее, брови — идеальной, но естественной дугой. Главным стали глаза. Джун использовала тени сложного, переливчатого оттенка «морской пены в полутьме» — серо-зелёные с фиолетовым подтоном. Она растушёвывала их так, что казалось, будто свет зарождается прямо в глубине глазниц. На веки она нанесла едва заметные частицы голографического пигмента, которые должны были ловить свет Вильяма и мерцать, как чешуя глубоководной рыбы. Припухлые губы остались почти натуральными, лишь слегка припудренными, с одним крошечным бликом в центре — каплей воздуха, пузырьком на пути к поверхности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.